

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 23

1971



Николай АСАНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 23

Николай АСАНОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

РАССКАЗЫ

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1971

Николай АСАНОВ

Николай Александрович Асанов печатается с конца двадцатых годов. Будучи рабочим Чусовского металлургического завода на Урале, он стал рабкором пермской областной газеты «Звезда». Рабкоровские заметки, стихи, очерки, рассказы — таков начальный путь писателя.

Во время войны Н. Асанов — корреспондент «Красной звезды» — опубликовал больше ста очерков, корреспонденций и рассказов о героях войны и тыла. В то же время он создает свой первый роман «Волшебный камень» — о подвиге геологов, отыскавших в дни войны необходимое стратегическое сырье — алмазы. Следующий роман, «Ветер с моря», посвящен создателям морских портов. Затем выходит роман об ученых — «Электрический остров».

В последние годы Н. Асанов создал ряд повестей на актуальные темы дня, которые объединил в сборнике «Неожиданные повести».

СОДЕРЖАНИЕ

На закате	3
В родном городе	8
Возвращение	16
Дорога к дому	27
Испытание страхом (Из цикла «Ироническая проза»)	43

НА ЗАКАТЕ

Игнатова ранили в самом начале атаки. Он бежал к примеченному им бугорку, похожему на засыпанный снегом муравейник. Замечательное укрытие! И вдруг пуля ударила ему в левое плечо с неожиданно странным звуком, похожим на чмокание губами. Чмок! И Игнатов упал, не добежав до бугорка всего нескольких шагов.

Он еще не ощущал боли, только досада и раздражение владели им. Какого черта, в самом деле! Он проделал весь великий поход и не получил ни одной царапины, а теперь, когда армия ведет наступление на немецкой земле, когда уже близка победа, придется валяться в госпитале. Разве не обидно?

Игнатов вдавился в снег, насколько это возможно человеку, раненному в плечо и у которого не действует рука. Снег был бурый. Недавно здесь прошли танки, и гитлеровцы выпустили по ним сотни снарядов, отчего снег смешался с землей, побурел от выброшенного взрывами перегноя.

Впереди виднелся лесок, где засели вражеские автоматчики. Туда направилась рота, в которой служил Игнатов. Там шел бой. А здесь, в поле, было совсем тихо. Игнатов огляделся по сторонам: нет ли еще раненых? Никого не увидел. Видно, его настигла какая-то шальная пуля. Будь она проклята! Трижды и четырежды проклята!

Игнатов скрипнул зубами. Надо пробираться в тыл. Не очень-то легко — ползти с пулей в плече! Он сел и принялся жадно глотать снег.

Поле молчало. Только в лесу продолжалась автоматная перестрелка. Танкисты славно разделали этот лес. Даже отсюда видно, что нижние ветви деревьев сбиты. А там, где танки вломились в лес напрямик, остались просеки. Лес поредел. Игнатов видел множество высоких, метра в три-четыре, пней. Это танкисты били из орудий прямой наводкой, сшибая вражеских автоматчиков вместе с деревьями, на которых они сидели. Танки прошли вперед, после чего оставшиеся в живых автоматчики снова сосредоточились в лесу. Теперь их добивают товарищи

Игнатова по роте, а он лежит на снегу и не может двигаться. Его тело стало непослушным: видно, потеряно много крови. Бурые кровавые пятна растеклись на снегу, и Игнатов внимательно разглядывал пригоршню снега, прежде чем положить его в рот.

Совсем близко послышался металлический скрип. Игнатов хотел повернуться, но его предупредили:

— Лежи!

К нему подползли два санитары. И тотчас же где-то рядом отрывисто и сухо затрещал автомат. Пули прошли мимо.

Первый санитар пригнул Игнатова к земле. Второй бинтовал плечо.

— Доползешь?

Игнатову стало легче от присутствия людей.

— Доползу...

— Он доползет,— сказал санитар с широким злым лицом.— У него рана пустяковая, а в лесу, наверное, есть тяжелые. Надо торопиться...

Этот санитар чем-то не понравился Игнатову. И бинтовал он неосторожно. Рана вдруг заныла, через мгновение боль снова охватила плечо и руку.

— Ползи, ползи,— сказал санитар помоложе.— Только не поднимайся... Тут где-то немцы... Стреляют...

Теперь Игнатову не понравились оба санитары. Он уже понимал, что не доползет, и хотел просить, чтобы его положили на волокушу. Но санитары вдруг исчезли, словно растаяли.

«Вот черти, тяжело им было вернуться»,— подумал Игнатов.

Он оцупал гранаты, винтовку. Трудно тащить их. И все-таки он отделался сравнительно легко. Там, в лесу, пришлось бы хуже. Эти фашистские автоматчики никогда не стреляют по одному разу. Им мало, подлецам, что человек упадет, они еще и по раненому выпускают очередь. В лесу его могли изрешетить десятки пуль, превратить в рваный мешок...

Первые три метра Игнатов прополз легко, даже улыбнулся про себя, но уже на пятом метре пришлось отдыхать.

Он оглянулся. Бугорок, к которому он бежал во время атаки, был все еще близко. До него метров пятьдесят, не больше. Через несколько минут Игнатов снова оглянулся. Проклятый бугорок будто бы вовсе не удалялся, словно преследовал раненого, двигался за ним.

Вдруг Игнатов насторожился. Покрытая снегом земля на бугорке зашевелилась, поползла в сторону. Бугорок раскрылся, как треснувший плод. В узкой щели показалась одна человеческая голова, потом другая. Гитлеровцы осматривали заснеженное поле.

«Мать честная! Да ведь это замаскированный дот. Как же его никто не заметил? — догадался Игнатов.— Видно, засевшие в нем фашисты не обнаружили себя во время нашей атаки, а теперь собираются уйти».

Игнатов подтянул к себе винтовку. Пока он примащивался поудобнее, чтобы выстрелить, над дотом появился третий вражеский солдат. Преодолевая боль в плече, Игнатов выстрелил.

Снег, поднятый пулей, взметнулся облачком чуть повыше щели дота. Люк закрылся. И в то же время над Игнатовым с противным повизгиванием полетели десятки пуль: гитлеровцы открыли огонь из пулемета.

— Врете, не уйдете! — буркнул Игнатов и пополз к бугорку.

Немцы прекратили огонь. Видно, Игнатов выполз из зоны обстрела. Его левая рука совсем окоченела, стала словно чужой. Он положил ее на приклад винтовки и стал колотить по ней здоровой рукой, будто вымещал злобу и на засевших в доте немцев и на себя за то, что ввязался в это дело. «У них там, в доте, тепло,— думал он.— Эта штука, которую они приподняли, наверное, броневая плита. Разве доберешься до них с винтовкой!»

Но он уже не хотел ползти в тыл, не разделившись с засевшими в доте фашистами. А в поле между тем не видно было ни одного нашего солдата. Он остался один и должен караулить уцелевший гарнизон дота. «Что же делать? Плюнуть на все, уйти? Но тогда уйдут и фашисты, которые сидят в доте. Еще посмеются надо мной. Нет, не бывать этому. Пусть замерзну, сдохну здесь, но не выпущу...»

Разговаривая с собой, Игнатов не спускал глаз с бугорка, за которым все ниже опускалось негреющее солнце, мешая ему целиться. Если бы немцы рискнули сейчас выскочить из дота, он ничего бы не мог сделать. Но они тоже боятся. Видно, спорят о том, кто должен выбраться первым.

«На что они надеются? — спрашивал себя Игнатов.— Ясно, на что: на то, что я замерзну, а может, ждут, когда стемнеет?»

Это предположение напугало его. Он еще ближе подполз к доту. Уж если караулить, так вблизи. Гитлеровцы заметили его. Прогремела длинная пулеметная очередь. Игнатов торопил солнце, чтобы оно скорее скрылось за лесом. Тогда ему удобнее будет целиться. Выбрав момент, он продвинулся еще на несколько метров вперед и свалился в воронку. Дот был теперь совсем рядом. Нет, господа хорошие, теперь он не уйдет!

Солнце опускалось все ниже и наконец скрылось за деревьями. Теперь Игнатов на фоне светлого неба еще отчетливее видел дот. Ему вспомнились мирные дни, зимние вечера в Красновишерске, на Урале. Хороши там были закаты! Солнце садилось

за высокими цехами бумажного комбината. В сильные морозы оно перед закатом становилось красным и продолговатым, похожим на горящий дирижабль. Гора Полкуд при этом покрывалась сначала фиолетовой дымкой, потом темно-синей. А перед самым закатом солнце принимало вид линзы из красного стекла. Под его уходящими лучами снег вокруг становился розовым, потом синим и, наконец, голубым, небо — легким, воздушным, похожим на сливочный крем. И эта смена красок продолжалась долго-долго, до самой темноты. А иногда...

Игнатов быстро выстрелил два раза. Первая пуля ударила ниже броневой плиты, вторая, вероятно, попала в смотровую щель. И, наверное, достигла цели, потому что из дота ясно послышался стон. По Игнатову не стреляли. Значит, из щели его не видно. Значит, для того, чтобы по нему стрелять, им необходимо приподнять броневую плиту. Ничего, он подождет. Пусть ему холодно, но он подождет...

Хороши закаты на Байкале летом! Там солнце садится прямо в глубокую воду, и вода становится как кровь. Впрочем, это тогда он думал, что вода может походить на кровь и что это красиво. Теперь-то он знает, что кровь — это просто бурые и совсем некрасивые пятна на земле или на снегу. Но тогда он мог сказать, что солнце окрашивало воду в кровавый цвет, вернее, повторить слова из книги. Ведь о закатах любят рассказывать писатели в книгах. Он никогда не встречал других людей, которые бы восхищались закатами. И сам он тогда не восхищался ими. Это теперь он вспоминает, какие были закаты. Если бы он не боялся замерзнуть от воспоминаний, он вспоминал бы, какие теплые были дома, в которых он жил до войны...

В этот раз он успел выстрелить еще три раза и пожалел, что не приготовил гранату. Хотя с гранатой тоже опасно. Она может отскочить обратно, если бросить неудачно. Нет, он лучше еще подождет. Гитлеровцы теперь разозлились, и ждать, когда они снова откроют броневую плиту, недолго...

На Риддере тоже замечательные закаты. Теперь он понимает: причиной были горы. И на Риддере, и на Байкале, и на Урале были горы. Но в горах тоже холодно. Нет, он не хотел бы воевать в горах. Здесь все-таки теплее...

Он думал о закатах, а попутно вспоминал все места, где работал и жил. Но ему не хотелось вспоминать свою профессию. Он всегда имел дело с металлом. Сначала работал на станках, потом ремонтировал станки. И ему не хотелось думать о металле, потому что металл на морозе словно огнем обжигает руки. Если у тебя в руках винтовка, ты чувствуешь, как тепло твоего тела уходит в магазинную коробку и в ствол, улетучивает-

ся, а ты трясешься, как собака. Нет, о металле не хочется вспоминать...

Он отвлекся только на мгновение, и десятки пуль просвистели над ним, а одна словно тяжелой палкой ударила по ноге. Но он все-таки заставил их закрыть плиту и снова кого-то ранил. Теперь они будут зализывать раны и ругаться. Он знает по собственному опыту, как умеют ругаться раненые.

Он затянул раненую ногу бинтом: ногу все-таки легче бинтовать, чем плечо. Справился как раз вовремя. Один из фашистов приоткрыл плиту, успел бросить гранату. Она не долетела до Игнатова, но все-таки было неприятно лежать в воронке и ждать, пока она взорвется. Игнатов боялся зажмуриться: вдруг немцы в это время снова откроют броневую плиту! А граната, казалось, не взрывалась целую вечность. Потом его ударило воздухом, засыпало грязным снегом. Гитлеровцы приоткрыли плиту. Он выстрелил. Один вражеский солдат вскрикнул и на половину перевалился за борт люка. В доте засуетились, выталкивая его. Он мешал закрыть люк. Мертвый, он был теперь не нужен им.

Игнатов выстрелил еще два раза. Обойма опустела. У него оставались теперь только гранаты. Гитлеровцы больше не открывали люк. Игнатов ждал. Он уже понял, что ноги и левая рука отморожены. Но правая рука и глаза жили. Он дышал и почти все время держал пальцы правой руки во рту, чтобы они тоже не умерли, не замерзли. В его глазах уже ничего не было, кроме ненависти. Он боялся теперь только одного: вдруг правая рука откажет, и он не сможет бросить гранату. О левой руке и ногах он старался не думать. Запорошенный снегом, замерзающий, он еще жил, и сидевшие в доте враги знали об этом.

Игнатову стало жалко себя, жалко всего больше мира, который он оставлял, жалко до слез, но он боялся плакать, чтобы слезы не застлали глаза. Все равно он не уйдет. Так лучше не плакать...

Широколицый санитар появился перед ним как порождение бреда, и Игнатов долго не мог разобрать, что он говорит. А санитар ругался:

— Какого черта ты не приполз? С такой раной, как у тебя, можно к тетке в гости идти, а ты заставляешь занятых людей на ночь глядя по полям бродить...

— Ам... ам-ам...— Игнатов ничего не мог сказать и только кивнул в сторону дота.

Санитар присвистнул и лег рядом с ним. Он вытащил из кармана термос, отвинтил пробку и стал поить Игнатова горячим чаем. Игнатов пил и чувствовал, как тепло проникало в желу-

док, но оно тут же уходило. Напоив раненого, санитар взял винтовку, направил ее в сторону дота.

— А где тот, другой? — вдруг спросил Игнатов.

— Убили,— хмуро ответил санитар.— Много их? — спросил он, в свою очередь.

— Не знаю.

— Что ж, околевать ты тут решил? А?..

— Пошел к черту!

— Гранату бросить можешь?

— Зачем?

— Не до свету же тут валандаться.

— Могу.

Санитар, держа наготове винтовку, пополз прямо к доту. Игнатов следил за ним, думая о том, сумеет ли метко бросить гранату... Ведь это очень трудно — метнуть гранату, если у тебя отморожены ноги и левая рука, а в теле две дыры, сквозь которые уходит сила. Санитар подполз к люку дота. Он тяжело дышал. Видны были клубы белого пара. Потом он тихо постучал по броневой плите три раза. Гитлеровцы не отвечали. Санитар постучал еще. И вдруг люк резко приподнялся. Санитар едва успел просунуть под него приклад винтовки. Игнатов бросил гранату. Она влетела внутрь дота. Санитар упал, прильнув к земле. Раздался взрыв, словно где-то далеко ударил гром.

Санитар поднялся. Из люка дота клубами выходил дым: сначала большой клуб, потом маленький, как бывает, когда дети пускают мыльные пузыри. Санитар подошел к Игнатову.

— Вот дураки, открыли,— сказал он.— Настоящие дураки. Пять здоровых дураков. Ползти можешь? Нет? Так. Достукался...

Он взвалил раненого на волокушу. Игнатов лежал, как бревно, но ему было теперь тепло, и лицо санитаря казалось добрым. Это было широкое приятное лицо. Жаль, что второго убили. Тот был тоже очень хороший человек...

В РОДНОМ ГОРОДЕ

Самолет сделал над лесом круг. Солонцов, сидевший на месте штурмана, почувствовал, как забилося сердце, тяжелый комок подкатил к горлу, мешая дышать. Летчик обернулся к Солонцову, спросил:

— Не видно сигналов?

Евгений Иванович с трудом понял искаженные ларингофоном слова.

— Нет,— ответил он летчику.

— Может быть, лучше лететь обратно, товарищ майор? — снова спросил летчик.

Солонцов не ответил. Он смотрел в черную глубину ночи, ограниченную едва уловимой линией горизонта, будто самолет кружился над бездонной чашей с высокими краями. И чем ближе к тому месту, где самолет делал второй круг, тем глубже казалась эта чаша. Днем Евгений Иванович, наверно, смог бы ориентироваться. Он увидел бы шатровую церковь XVI века в селе Ратное, три деревянные звонницы над нею, нашел бы, может быть, заповедную усадьбу тысяцкого Торопы — она должна находиться чуть севернее Ратного, там, где тяжелая туча опустилась почти до самой земли. На карте в штабе Солонцов отчетливо представлял место, где ему предстояло приземлиться. Но сигналов не было. Может, люди, которые должны были встретить его, убиты в непредвиденном бою с фашистами, может, как раз сейчас идет облага, и гитлеровцы, слыша рокот самолета, ждут, когда Солонцов окажется на земле?

— Пошли обратно, товарищ майор,— еще раз сказал летчик.

Солонцов резким движением отстегнул карабин и освободился от ремней, привязывавших его к сиденью. Летчик машинально убавил скорость. Прежде чем снять шлемофон, Евгений Иванович сказал:

— Сообщите в штаб обстановку, скажите, что сигналов не было, но в точке приземления тишина. Прощайте!

Сняв шлемофон, он больше не слышал летчика, только видел его шевелящиеся губы, сердитое лицо. Из-за пазухи достал смятую кепку, надел ее и привязал сверху шарфом, застегнул на все пуговицы ватник, ухватился за край кабины и приподнялся. Теперь он был похож на крестьянина-охотника. Таким он и должен казаться в этих местах.

Неуклюже перевалившись через борт кабины, он с трудом выдерживал натиск, повторяя про себя дрожащими губами слова пароля. Вдруг усмехнулся, посмотрел на летчика, оттолкнулся от самолета и сорвался в пропасть.

Во внезапно наступившей тишине Евгений Иванович увидел самолет, уходящий на восток, вспомнил инструкцию о прыжках, сосчитал до трех, выдернул кольцо. Его рвануло на лямках, несколько раз встряхнуло, бросая из стороны в сторону, потом началось ровное падение вниз. И сразу подумалось, что все его страхи были преувеличенны. Оказывается, тяжело только оторваться от самолета, все остальное просто!

В этот момент его ударило о дерево. Солонцов ухватился за колючие ветви и сполз на землю.

Несколько минут Евгений Иванович сидел на земле, вытирая с лица пот и кровь. Затем освободился от парашюта и попытался снять его с дерева. Это оказалось труднее прыжка. Пришлось лезть в темноте по гнущимся сучьям, перерезать зацепившиеся за сучья стропы, снимать шелк по кускам. Закончив эту утомительную работу и припорошив спрятанный парашют землей, Солонцов пошел по лесу, стараясь как можно быстрее покинуть место приземления. Однако это была относительная скорость. Он падал, проваливался в какие-то ямы, продирался сквозь кусты и все время, как ему казалось, колесил на одном месте.

Где-то в лесу были люди, которых он должен увидеть. Но как их найти в этих заболоченных пространствах? Солонцов присел на пень, положив руки на колени. Эта поза — он знал — помогла ему сосредоточиться.

Искусствовед, известный специалист по памятникам старины, в дни блокады Ленинграда он обратился в штаб с просьбой, чтобы его призвали в армию. Больше всего он боялся, что окажется ненужным в бою. Какой солдат из болезненного пятидесятилетнего человека, давно забывшего все, чему его учили на территориальных сборах! Он прибег даже к протекции, чтобы осуществить свое желание.

Он был принят, направлен на командные курсы, после окончания которых зачислен в штаб на такую должность, наличия которой в дни войны даже не предполагал. Это были самые тяжкие дни Ленинграда. Солонцов думал только о том, чтобы беспощадно бить врага, а его направили в отдел штаба, где он должен был учитывать и по возможности оберегать от разрушения памятники старины. Ему дали звание офицера, а на самом деле он по-прежнему был искусствоведом. Разница заключалась лишь в том, что часть памятников старины была на территории, занятой врагом, а сводки о сохранности древних церквей, исторических реликвий народа, икон, написанных Андреем Рублевым, подлинных летописей и первопечатных книг подписывали не директора музеев, а командиры партизанских отрядов. О вывозе этих драгоценностей на Большую землю Солонцову приходилось беседовать с обветренными, загорелыми людьми, которых никто не называл по фамилии...

Солонцов написал несколько рапортов с просьбой направить его в боевое подразделение. Однажды Евгения Ивановича вызвал генерал, посоветовал не писать больше рапортов. Однако запрещение заставило Солонцова замолчать, а то, что при Солонцове, отдавая приказ об атаке (армия уже перешла в наступление), генерал напомнил полковнику-артиллеристу, что в

пригороде находится дворец петровской эпохи, который во что бы то ни стало нужно сохранить от разрушения.

— Конечно, гитлеровцы разграбили дворец,— сказал генерал,— но придет время, и мы вернем из Берлина награбленное. Дворец необходимо сохранить, чтобы разместить возвращенное. А что именно украли гитлеровцы, об этом подробно расскажет потом майор Солонцов.

С этого дня у Евгения Ивановича стало особенно много работы. Армия двигалась вперед. Нужно было учитывать, какой урон нанесен памятникам старины, писать подробные доклады. Отдел, в котором когда-то работал один Солонцов, теперь был расширен. Евгений Иванович разыскал многих знатоков старины и привлек их к делу.

Но вот настал день, когда армия вплотную подошла к родным местам Солонцова, где он провел годы молодости, где написал первую книгу, принесшую ему известность. Здесь когда-то зачиналась Русь! Здесь Солонцов знал каждую деревню, каждую старинную церковь, каждую усадьбу. В его путевых блокнотах, а потом и в книгах были описаны даже самые незначительные остатки крепостей и сторожевых башен, в которых когда-то русские воины охраняли край от нашествия немецких латников-крестоносцев. И вот пришел день, когда Солонцов предложили стать разведчиком. Командование учло, что до войны он продолжительное время работал в бывшей пограничной полосе, хорошо знал местность. Тот же генерал, который когда-то запретил ему писать рапорты о переводе в боевое подразделение, вызвал его к себе и приказал готовиться к высадке в тылу вражеских войск. В одном схитрил Солонцов: на вопрос генерала, умеет ли он прыгать с парашютом, ответил утвердительно, хотя никогда прежде не занимался парашютным спортом. Впрочем, через несколько часов он знал о прыжках все, что было известно его сотрудником и знакомым, а самое главное, оказалось, что это не такое уж трудное дело. Определить возраст здания по куску связующего раствора между камнями значительно труднее!

И вот Солонцов в лесу. Первая часть задачи решена. Как решить вторую?

Начало светать. Солонцов медленно поднялся, вынул из кармана деревенскую уздечку для лошади. Он улыбнулся, вспомнив, сколько хлопот доставила эта уздечка ординару генерала: не так-то просто оказалось найти ее в городе! Евгений Иванович снял с руки часы и компас, последний раз взглянул на них. Теперь придется ориентироваться только по приметам! Часы и компас он спрятал под пень: нельзя крестьянину из деревни Сунжа иметь на руке такие точные инструменты. Под

пень сунул он и шагомер. Если путь будет длинным, зачем его измерять, а если он короток и ведет прямо к смерти, стоит ли затруднять себя подсчетом последних шагов? Все это пригодилось бы, если бы его встретили верные люди, а теперь каждая вещь из города — только улика против крестьянина, ищущего свою лошадь.

Он шел на восток, сверяя путь по солнцу, а когда солнце скрылось за тучами, определяя направление по пням — годовые кольца толще с южной стороны; по муравейникам — они строятся на южной, прогретой солнцем площадке под деревом; по осиновой листве — она гуще с юга. И, проверяя эти приметы, Солонцов улыбался, словно детство махнуло на него цветным рукавом.

Два раза он натыкался на следы лесного жестокого боя, оставившаяся у могильных холмов, потом снова продолжал свой путь неторопливой походкой крестьянина, который ищет своего коня в знакомых местах.

Когда он вышел на шоссе и узнал озерко у села Ратное, вздрогнул от неожиданности. Села не было. Сколько он ни смотрел на высокий бугор, не увидел ни древней ратновской церкви, ни широких улиц. Только деревья, пожелтевшие, покрытые какими-то черными пятнами, стояли на бугре. Солонцов торопливо поднялся на холм. На многих деревьях висели трупы, качаясь, подобно тяжелым, грубым куклам. Ветер поднимал тонкую пепельную пыль: пожарище было уже обдуто, на нем остались только камень да тяжелая зола. Солонцов посмотрел с бугра на север, но не увидел и усадьбы Торопы, ее угловатых теремов со слюдяными оконцами, граненых башенок, которые он сам реставрировал перед войной. Там тоже было пожарище.

У околицы сожженного села Евгений Иванович заметил на дорожном указателе какую-то афишу. Подошел, прочел: «Список расстрелянных бандитов».

Ниже аккуратными столбцами были напечатаны фамилии, больше ста. Он читал список, сузив от гнева глаза. «Харламов Н. И.»... И Солонцов вспомнил скромного хранителя церкви-музея, человека, который не умел сказать грубого слова. «Ипатова М. Г.» — старшая научная сотрудница музея-усадьбы, девушка, которую он сам устроил сюда на работу, так как она была больна туберкулезом и ей вредно было жить в городе. «Еремины Н. К., М. К., Е. К...» — девять имен, вся семья сказителей и резчиков по дереву вместе с детьми! Каждая значащаяся в списке фамилия напоминала Солонцову о мирных днях, когда он бродил в этих местах, записывая сказания, делая зарисовки старинных зданий, разыскивая рукописные книги.

— Мир вашему праху, жители села Ратное! Мы отомстим за вас! — прошептал Евгений Иванович.

Наконец он прочел немецкую фамилию в конце приказа и увидел вторую, русскую: «Помощник бургомистра Светловидов...» Ну подождите, господин Светловидов! Придет время, вы будете висеть рядом со своим немецким хозяином!

Солонцов с трудом оторвался от страшной афиши и быстро зашагал по дороге в соседний город, занятый вражескими войсками. Если не удалось связаться непосредственно с теми, к кому он шел, то придется устанавливать связи через городских друзей. По пути он обдумывал, кого из знакомых может встретить, кому может довериться, чтобы связаться с партизанами.

В штабе его предупреждали, что появляться в городе небезопасно. Но иного пути не было. Видимо, фашисты предприняли против партизан очередную карательную экспедицию, и народные мстители вынуждены были неожиданно сменить свою базу.

Одну за другой вспоминал Солонцов фамилии своих городских друзей. Вспомнил старого приятеля, товарища по профессии и скитаниям, музейного работника Гаранина. Вспомнил свою квартирную хозяйку врача Веселову. И Гаранин и Веселова — люди пожилые. Казалось, гитлеровцы не смогли причинить им беды. Три года назад, когда чаепитие, гостеприимство, игры в преферанс, общие рабочие замыслы объединяли людей, все было просто. А остались ли Гаранин и Веселова такими же, какими были прежде, не переметнулись ли они к оккупантам?

Когда стемнело, Солонцов пробрался в город. Он знал здесь каждую улицу, каждый проходной двор, но город изменился, стал неузнаваемым. Солонцов всюду видел руины, пожарища, заграждения из колючей проволоки, бетонные укрепления. На улицах слышались немецкая речь, оклики, выстрелы. Евгений Иванович старательно обходил главные улицы, где больше всего было немцев. Так он добрался до дома, в котором до войны снимал комнату.

Темнота в окнах и тишина в доме не испугали его. Он знал эту военную беззвучную и затемненную жизнь. Постучал. Но никто не ответил на его осторожный стук. Толкнул дверь — она была открыта. Вошел в дом и сразу почувствовал его нежилую пустоту. Что ж, этого следовало ожидать. Варвара Михайловна Веселова могла эвакуироваться, могла переселиться в деревню. Но в темноте Солонцову все время попадались привычные вещи домашнего обихода, те предметы, которые говорят о неожиданном исчезновении хозяев. Евгений Иванович осторожно вышел, постоял в подъезде, услышал чьи-то шаги, робкие, как бы детские, и наудачу спросил:

— Мне доктора, к больному... Где она?

— Нет доктора,— ответил женский голос после недолгого молчания.

— Уехала?

— Нет, увели!

Все стихло, даже дыхание, как будто говорившая и сама испугалась своей смелости. Солонцов постоял несколько минут и ушел. Теперь он направился в центр города, где жил Гаранин. Идти стало опаснее. Правда, к небольшому домику Гаранина можно было пробраться глухими переулками. Но в первом же из них Солонцов потерпел неудачу. Его облаяла сторожевая собака, затем послышался выстрел. Евгений Иванович повернул обратно.

Он попытался пройти в центр от реки. Но и там, на огородах, стояла охрана. Солонцов подумал даже, не живет ли у Гаранина какой-нибудь крупный гитлеровский чиновник. Выбравшись снова на улицу, Евгений Иванович подождал, пока прошли часовые, и пошел вслед за ними. Он едва успел спрятаться в палисаднике под окнами гаранинского дома, когда часовые повернули обратно. Солонцов приподнялся, чтобы постучать в окно, но оно неожиданно распахнулось, пропустив узкий луч света. Затем снова упала тяжелая штора, кто-то сказал по-немецки:

— Душно, нечем дышать.

— Но с открытым окном опасно, господин полковник.— Солонцов сразу узнал его тоненький голос. Это сказал Гаранин.

— Больше партизан нет, господин Светловидов,— снисходительно заметил немецкий полковник.— По крайней мере в городе...

Солонцов почувствовал, как все его тело сжалось в один комок. Это не был страх. С внезапной яростью Евгений Иванович пожалел о том, что у него нет оружия. С каким бы бешенством он крикнул сейчас в окно: «Врете! Есть еще партизаны!» — и швырнул бы гранату. Он прижался к стене, стараясь стать совсем незаметным, а из окна слышались голоса немцев (в доме их было двое или трое) и голос Гаранина, избравшего себе благозвучный псевдоним Светловидова. Оставаться под окнами этого дома дольше было опасно, но неудержимая сила ненависти как бы влекла Солонцова к открытому окну, будто он мог убить находящихся за ним врагов взглядом, если не было иного оружия...

Через несколько минут Евгений Иванович выполз из палисадника. Трезвая расчетливость, которой он никогда не знал за собой, теперь оберегала его от рискованного шага. Он выждал, пока снова пройдут часовые, теперь он знал, кого они охраняли. Может быть, он единственный, кто знает в лицо Светловидо-

ва, единственный, кто сможет поймать его. И он берет себя во имя отмщения.

На рассвете Солонцов выбрался из города и теперь шел на запад, туда, где еще могли его ждать партизаны. Он ориентировался по звукам выстрелов, по багровому пламени пожарищ: фашисты уничтожали лесные села. Каждого встречного Евгений Иванович спрашивал:

— Не видели ли по дороге рыжую лошадку?

Редкие встречные хмуро отвечали: «Нет, не видели!» — и торопливо проходили мимо. До лошадки ли им было, когда каждый дрожал за свою жизнь. Но на одной лесной прогалине пастух вдруг спросил Солонцова:

— А у нее холка не сбита?

— Сбита! — обрадовался Солонцов.

Тогда пастух вдруг закричал:

— Товарищ командир, конек-то нашелся!

И лес вдруг ожил, из-за деревьев выглянули люди.

Высокий бородач обнял Солонцова:

— Товарищ майор, а мы столько времени искали вас...

— Я тоже искал, — хмуро ответил Солонцов.

— Проклятые каратели! Из-за них третий раз базу меняем. С ума они приходили, что ли? — как бы оправдываясь, проговорил бородач.

— Нет, — ответил Солонцов, — они собираются бежать. А мы должны закрыть им дорогу...

Поздней ночью за полсотни километров от того места, где гитлеровцы искали партизан, собрались партизанские вожаки. Солонцов докладывал им план разработанной в штабе армии боевой операции, которую части Красной Армии должны были осуществить вместе с партизанами. Отрядам предстояло завершить окружение города прежде, чем с востока под грохот канонады двинутся войска Красной Армии. Когда Солонцов закончил доклад, один из партизанских командиров, знавший искусствоведа по довоенной работе, сказал:

— А все-таки, товарищ майор, чувствуется в вас любитель старины.

— Почему? — спросил Солонцов.

— А посмотрите на карту. По плану операции оказались открытыми все селения, в которых еще сохранились ценные памятники.

— Неверно! — сухо сказал Солонцов. — План операции предполагает отрезать врагам пути отхода. Важно, чтобы, освобождая один дом, не дать возможности фашистской нечисти расползтись по другим. Если вы повнимательнее приглядитесь к карте, то увидите, что это наши предки ставили свои селения

так, чтобы преградить дорогу оккупантам, а если они проберутся, не выпустить их обратно. Вспомните названия этих селений...

Он широким жестом провел по карте области, и командиры отрядов как бы впервые прочли названия старых славянских поселений: Крепость, Защита, Ратное, Колоча, Упор.

— Постарайтесь захватить Гаранина живым,— сказал в заключение Солонцов и увидел, как налились гневом лица молчаливых людей: они-то знали, что представляет собой этот выродок Гаранин, скрывавшийся под вымышленной фамилией Светловидова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Оставь меня в покое! — сказал Павел и отвернулся. Стало слышно, как в углу каплет вода с отсыревшей стены. — И зачем только я остался, черт меня возьми! — Он застонал и снова лег лицом вверх. Несколько секунд он смотрел на усталое, ставшее почти прозрачным лицо Марии, потом с усилием закрыл глаза.

Мария сидела на краю топчана, служившего ему постелью, и со страхом рассматривала разбитованную ногу. Края раны потемнели, и нога опухла. Черная, огромная, она походила на чугунный слиток. Павел судорожно напряг мускулы, хотел пошевелить пальцами ноги, но они не двигались. Он лежал, запрокинув голову, глядя на тусклый огонек коптилки, на надоевшие ему доски черного пола, служившего для него в этом подвале потолком. Проклятые доски, они заменяли ему высокое небо, звезды — все любимые и прекрасные видения того времени, когда он был здоров.

— Я тебе сказал, уходи! И почему только я не уполз? — пробормотал он снова.

Женщина медленно встала и, пригнувшись, пошла к лестнице. Он угрюмо следил, как она поднялась, открыла дверцу подполья. Босые ноги мелькнули в дверном люке, затем коптилка исчезла, и дверь медленно закрылась. Павел остался один. Спать он не мог. Утомительная боль изнуряла его. Хотелось умереть, лишь бы не чувствовать боли.

Он попал в это подполье около месяца назад. Налет на село оказался неудачным. Немцы, напуганные партизанами, окружили село усиленными постами и секретами. Павел упал во дворе маленькой избы. Нога была разбита взрывом гранаты. Ночь скрыла его от преследователей. Он лежал под сараем, временами теряя сознание. Ему казалось, что его несут товарищи, потом он силился ползти, отбивался от чужих рук. Опом-

нился он в этом подполье. Было темно, и ему казалось, что он расстрелян и, недобитый, сброшен в могилу. Вокруг плавали неясные запахи прелой земли и гнилого дерева. Он попробовал поднять руки. Они уперлись во что-то мягкое, податливое. И вдруг на его лицо часто-часто закапали слезы и грустный женский голос запел печальный зауспокойный плач:

— На кого же ты покинул родичей, и жену свою, и малых детушек, и коня своего, и сошеньку... Добрый молодец успокоился, успокоился да упокоился...

Ему стало страшно. Никогда до сих пор он не знал, что такое истерический, сумасшедший страх. Он вскрикнул, оттолкнулся руками, услышал падение тяжелого тела, топот босых ног. На мгновение открылся люк наверху, в узкой полосе света мелькнула женщина и исчезла.

Тогда Павел вспомнил все. Вспомнил и понял, что какая-то добрая душа спасла его среди тревожной ночи, спрятала в подполье, и, видно, эта добрая душа заживо оплакивала его, когда он лежал в забытии.

Потом он долго отдышал от страха, жадно глядя на то место, где открывался люк, и ждал. Все было тихо. Даже наверху не чувствовалось присутствия людей. И, только привыкнув к обманчивой тишине, он начал постепенно узнавать по чуть слышным шорохам всю избу, как будто он был в ней когда-то или видел во сне. По тому, где останавливался топот босых ног, он понимал расположение печи, дверей, стола. Но неизвестная благодетельница его молчала, и он не знал, одна ли она там, наверху.

Он не помнил, как заснул, и, проснувшись, не знал, день или ночь на дворе. Он тихонько кашлянул, надеясь услышать тихий, ласковый голос, оплакивавший разлуку с ним, неизвестным человеком. Никто не отвечал. Он закашлял снова, нетерпеливо и капризно, словно маленький, и вдруг она оказалась рядом. Уже знакомый голос прошептал:

— Тише, Павел Алексеевич...

Он вздрогнул от неожиданности, от того, что в темноте было произнесено его имя.

— Кто тут?

— Я, Мария. Подожди, сейчас огня добуду...

Зашуршали спички. Разгорелось желтое трепетное пламя. Он жадно вглядывался в освещенное лицо женщины. Оно было некрасиво, широкоскулое, грубое лицо двадцатипятилетней увядшей женщины. Мария зажгла коптилку, и он увидел, где находится.

Подполье было приспособлено под хранение овощей, рухляди и ненужной утвари. Для Павла хозяйка выделила угол, поста-

вив деревянный топчан за мешками с картошкой, старыми бочонками и ящиками.

Она с тревожным стеснительным ожиданием смотрела на него, оправляя помятую кофточку. Павел настороженно следил за ней. Острое любопытство, на мгновение пересилившее даже боль, исчезло. И вдруг он увидел, как глаза ее потускнели, вся она как-то сникла, постарела, стала еще некрасивее.

— Кто вы? — осторожно спросил он.

— Колхозница,— нехотя ответила она.

— Как вы меня... спасли? — Ему хотелось спросить, как она узнала его имя, но внутренним чутьем он понял, что Мария обидится на этот прямой вопрос.

— А что же, не оставлять вас было помирать...

— Это Бартеневка?

— Она.

Они помолчали немного.

— А как же... все-таки...— Он не договорил.

— Очень уж вы известный, товарищ Уразов,— по-прежнему с неохотой ответила она.— Вот, поглядите...

Она развернула какую-то газетку и протянула ему. Павел увидел свое худое лицо с острым взглядом. Под портретом крупным шрифтом было напечатано извещение о том, что лица, указавшие местопребывание тяжело раненного главаря партизанской шайки Павла Уразова, получают вознаграждение в сумме десяти тысяч марок.

— Так...

— Да, дорогой гость...— неопределенно отозвалась женщина.

— Кто знает, что я здесь?

— Никто,— сухо ответила Мария.

Он не сумел скрыть недоверия и боязни, своего разочарования при первом взгляде и теперь чувствовал, как женщина замыкается от него. В голосе ее больше не было ласки и теплоты. Она указала, где находится еда, и ушла.

Два раза она приносила Павлу газеты, в которых немцы сообщали, что Уразов выслежен и уничтожен вместе с отрядом. Эти известия радовали Павла, он знал теперь, что отряд существует и по-прежнему наводит страх.

Он уже подумывал о том времени, когда снова вернется в отряд, пытался представить новые задачи, какие надо было решать, но слишком мало знал о своих друзьях. Несколько раз он обиняками заводил разговор с Марией о том, что ей трудно ухаживать за ним, что надо бы сообщить товарищам, но сначала Мария притворялась непонимающей, а когда он прямо попросил ее связаться с партизанами, ответила, что не знает, где их искать.

Он мог думать о ней что хотел. Мог обвинять ее в трусости. Но за помощь ему Марии грозило еще большее наказание, чем за попытку выйти из села. В последний раз она открыла маленький отдушник в стене подвала, и Павел увидел широкую улицу, а в конце ее столбы с перекладиной и неподвижные тела повешенных. И больше он не начинал разговора на эту тему.

Но в последние дни состояние больного неожиданно ухудшилось. Он потерял способность управлять ногой, не чувствовал ее. Огневая, непрекращающаяся боль терзала его, как будто на ногах был разложен костер, языки которого лизали все тело, прожигая до сердца.

Значит, так наступает конец. Сначала ты веселый ходишь по миру — путник на длинной дороге — и не замечаешь расстояний, потому что все на перекрестках и по сторонам развлекает тебя. И тебя не пугает тяжесть пути, потому что очень интересно, а сможешь ли ты подняться на эту гору, и пленительно соревнование между собой и враждебной силой расстояний и преград. Потом ты становишься старше, и тебе вдруг захочется покоя. Ты обставишь квартиру многочисленными стульями, чтобы отдыхать на них, поставишь кушетку и кровать, чтобы лежать на них, и ночами ты будешь сердиться на телефонные звонки и даже будешь ругаться, что кто-то не сумел сам справиться с делом и тревожит тебя. И только утомительное сознание долга заставляет тебя казаться таким же, каким ты был много лет назад, — ловким, отзывчивым и неутомимым. Но вечером ты слышишь в груди тяжелое биение отработавшего сердца, а под ложечкой — изжогу, и она душил тебя по ночам. И ты понимаешь, что постарел, но еще рассчитываешь жизнь на годы вперед и думаешь о том, что, когда твой район выйдет на первое место, ты попросишь товарищей из орготдела перебросить тебя на работу в город, а там ты, может быть, подлечиться. И, может, все это пройдет само собой.

И ты все еще любишь смотреть на девичьи лица, и любишь заметить золотой пушок на щеке, который так оттеняет овал лица, и любишь охотиться ранней весной и бродить по болотам — собака вытянулась в стойке, затем прыжок, только что у тебя дрожали пальцы, но ты выстрелил, и птица падает на землю, в ней нет уже ничего птичьего, она утратила все свойства птицы и падает, как камень.

Но ты непоправимо стареешь, и ты знаешь: это единственное, что действительно непоправимо. Ты не думаешь об этом, но сознание это где-то внутри тебя, оно незримо присутствует в тебе, и вдруг на товарищеском ужине, где все ждут твоей шутки, или на заседании, где все ждут твоей речи, это снова кос-

нется тебя, и друзья растерянно смотрят и недоумевают, к чему ты прислушиваешься, когда все молчат...

Мария спустилась в подполье. Павел снова увидел в ее глазах, во всех ее робких движениях ту неприятную для него нежность женщины, которую никто не любил и которая ищет любви,— так ему казалось.

Она осторожно сняла марлю, покрывавшую рану, и приложила что-то нежное, прохладное к ноге.

— Что это?

— Алой. Может, жар оттянет. Вот, посмотри.

Он увидел перед лицом колеблющиеся толстые, мясистые листья в мудреных зубчиках, отчетливо заметил острые колючки по краям. Он смотрел на них и видел себя в каком-то чудесном лесу, где росли странные кусты алоэ, с них падали большие, тяжелые капли росы. Только ноги горели по-прежнему, должно быть, они оказались за тенью, и на них ослепительно изливалось тропическое солнце.

Огромным напряжением воли он скинул с себя оцепенение и снова увидел жалкие листики в руках Марии.

— Знахарство. Надоело мне все это.

Ему представились сразу все снадобья, которыми Мария лечила его. Тут была тертая картошка, хлеб с запеченной в него паутиной, какая-то странная мазь из дегтя с коровьим маслом — она отвратительно пахла, это было лакомство не для слабонервных — и много разных других. А сколько на нем испробовано таких снадобий, пока он лежал без сознания! Его затошнило от одного представления об этих опытах.

— Нужно врача,— сказал он.

— Потерпи, Павел Алексеевич, не выпускают немцы.

Она умоляюще смотрела на него, и Павлу стало стыдно.

— Ну, ладно, положи. Алой так алой.

Теперь он знал, что дело его плохо. Все равно без врача он не выживет. Пусть Мария успокоится сознанием, что все сделала для его спасения. И, умирая, не следует причинять больших хлопот друзьям. И не к чему вызывать у них угрызения совести.

Временами он словно отсутствовал, заплутавшись в плену воспоминаний. Возвращение к действительности всегда было тяжелым, словно он тащил непривычный груз, падая, задыхаясь.

Так он увидел Марию, которая почему-то принесла много хлеба, воды и картошки. Теперь она стояла над ним, будто не решаясь будить.

— Ну что, Мария?

— Я тут выйду... Так вы не отвечайте, если зайдут...

Он хотел бы очень пристально, очень острым взглядом посмотреть на нее, но голубые волны тумана плавали над ним, он все еще был на реке, где только что сплавлял лес и бежал по колеблющимся бревнам, а банка аммонала, опущенная им под затор, вот-вот взорвется, а он оступился и не может выдернуть зажатую ногу из перекрещенных бревен. На берегу кричат, и он видит белые круглые лица,— ему еще подумалось, что у испуганных людей лица ужасно глупые и нельзя поверить, что им страшно,— и он нырнул в разводе между бревнами, услышал грохот рушащегося мира, бревна вставали и падали над его головой — удивительно, как он тогда уцелел. А сейчас он не может открыть глаза...

— Куда?

— К подруге.

— Когда вернешься?

— К вечеру. Да вы только не отвечайте.

Он не слышал, как ушла Мария. Потом был долгий сон. Он понял это по тому, что часы остановились. Марии не было. И вдруг ему захотелось услышать ее шаги, ее голос, хотя она редко говорила ласково, но все равно от ее голоса исходило такое же тепло, как от ее большого, плотного тела. Но Марии не было,

Павел попытался открыть отдушник, но руки не подчинились ему. Он застонал, но спохватился, что тишина без Марии враждебна ему.

Когда ему удалось открыть окно, на улице была ночь. А ему казалось, что он начал эту работу утром.

Он смотрел на крохотный, узенький кусок мира, врезанный в его беспомощное, темное одиночество, и рассматривал незнакомые, далекие звезды. Они постепенно бледнели, и он вдруг испугался за Марию, потому что это было утро, потому что в предрассветных сумерках раздавались чужие хриплые голоса.

Как он разрешил женщине одной уходить из дома, когда немцы в деревне, и почему она должна идти к подруге, а не подруга к ней?

Он закрыл отдушник. Чужой мир был за стеной. Женщина могла попасть в беду. А он бессилен что-нибудь предпринять.

От ярости ему стало плохо. И снова мерещились какие-то сновидения, но теперь они становились все неприятнее и злее.

Когда он вторично открыл отдушник, было опять темно. Сначала он не мог понять — может быть, все еще в первый раз видит он косо упавшее небо. Но голосов не было, только где-то далеко слышались одиночные выстрелы. Так молодые солдаты ночью от тоски и страха разряжают винтовки, чтобы вызвать

разводящего, услышать человеческий голос — пусть он даже грозит судом. Павел знал эту беспорядочную ночную стрельбу в немецком тылу. Они всегда боятся, все захватчики боятся, по ночам им мерещатся мстители, и они отводят душу стрельбой в ночные тени.

А Марии не было. И ему стало жаль, что он не сказал ей ни одного ласкового слова, что он все время боялся ее ласковых глаз.

Он услышал над головой тяжелые шаги. Это были чужие шаги. Человек ступал медленно и осторожно, словно с трудом передвигал ноги или бродил впотьмах. Павел сжался, как будто он хотел слиться со стеной. Скрипнул люк. Он нащупал гранату — единственная! — и выпростал правую руку.

— Я это...

Он не поверил безжизненному голосу, но она зажгла коптилку. Она приближалась к нему. Он вытянулся навстречу и все-таки не узнавал ее, хотя знал, что это она, Мария.

— Вот...— сказала Мария и протянула какие-то пузырьки. Жидкость в них заиграла странными цветами. Потом выложила из карманов склянки с мазями, бинты, пакет ваты.

— Где ты была?

— За лекарствами ходила. В Шипилове врача расстреляли, а больницу под лазарет забрали. А до Овчарова все тридцать верст будет. Там и достала.

Она любовно потрогала пузырьки, потом наклонилась над ним, развязывая рану. Он видел дрожащие пальцы, кровоподтеки на лице, утомленные, скорбные глаза.

Павел вздрогнул от резкого укола в ногу.

— Что ты делаешь?

— Доктор велел рассечь опухоль.

— Да ты же не умеешь! Оставь.

— Не дергай ногу. Ну, вот и готово. Теперь я положу в рану корпию. Не может доктор к тебе прийти. А что же делать? Он сказал. Я даже записала, да он велел бумажку выбросить, чтобы немцы не захватили. И ничего тут страшного нет.

Она не переставая что-то делала с его ногой. Он стиснул зубы, чтобы не показаться ей слабым. Дьявольская боль все усиливалась. Ему показалось, что она разрезает ногу до кости. А что же делать, если доктор не может прийти? Он не успел додумать, как ему быть, она сказала негромко:

— Пустое дело медицина, если все так просто. Видишь, сколько гноя течет. Вот и доктор то же сказал.

Нога отдыхала, смягченная мазями и прохладой бинтов. Мария выпрямилась, хватаясь за поясницу, как делают натрудившие спину старые женщины, вздохнула.

— Пойду я.. Лежи теперь...

— Что с тобой?

Мария взглянула прямо в глаза и криво усмехнулась:

— Что ж ты думаешь, немцы так и пустят гулять из деревни в деревню...

Вдруг голос оборвался, глухие рыдания забились в горле.

— Замучили, сволочи...

Он хотел ее утешить, но никаких утешительных слов не было в памяти... Наверное, они еще не придуманы — такие утешительные слова, иначе бы он знал их, ведь ему тридцать пять лет! Ничего он не нашел, никаких слов, ни ласковых, ни трогательных, ни нежных, — она повернулась и ушла, с трудом передвигая ноги. На лестницу она всходила медленно. Может быть, ей было трудно, а может быть, она ждала, что он, все знающий, все понимающий, вспомнит какие-нибудь хорошие слова.

А он лежал, боясь смотреть вслед ей, и про себя повторял — ему даже казалось, что он говорит вслух: «Сволочи! Сволочи!» Ну, подожди! Ты обязан выздороветь, понимаешь, ты должен выздороветь, столько стоит забота о тебе, что ты не имеешь права умирать, обижать человека, отдавшего тебе все, что он имел, ты не сделаешь такой подлости, ты никого не обманешь!

Странно, что с этой ночи сны его изменились. Теперь он видел цветы, небо, воздух, который колеблется над нагретыми крышами цехов, видел голубую воду, и она была ласкова и тепла.

Мария заходила три раза в день. И по силе своего желания увидеть ее Павел угадывал время дня.

Он еще повторял ей, будто не верит в то, что может выздороветь. А между тем, едва она уходила, он начинал мучительные упражнения. Поднимая больную ногу рукой, он стаскивал ее с топчана и пытался встать на нее. Он падал на топчан, лицо его покрывалось потом, становилось трудно дышать, но, едва отдохнув, он снова повторял эти страшные попытки вернуть себе прежнюю силу. Он хотел знать, может ли доверять ноге.

На исходе второго месяца пребывания у Марии он понял, что может ходить.

Если сбросить со счетов такие хорошие, но труднодостижимые слова, как: летать, любить, творить, радоваться, — едва ли найдется еще какое-нибудь слово получше, чем слово «ходить». Ходить — это значит видеть, знать, побеждать, мстить, двигаться, снова стать путником длинной дороги и удовлетворить чувство, не присущее ни зверю, ни птице, ни рыбе, но только человеку, — чувство мести.

Он исследовал свою возможность ходить примерно так, как исследует свой открываемый мир ребенок. Сделав первый шаг,

он сразу привстал на здоровой ноге, подобно аисту среди разрушенного гнезда разной ружляди, окружавшей его.

Затем он постоял на больной ноге и убедился, что в полу есть замечательные особенности, которых он не замечал раньше. Так, одна половица приятно пружинила под ногой, словно просила еще раз встать на нее, другая выставляла неровную кромку, и он чуть не упал, третья пела добрым скрипучим голосом, как будто приглашала в долгий путь. Еще одна вдруг провалилась под ногой, и он так ушиб рану, что остаток дня пришлось пролежать в постели.

Но Мария не видела этих опытов. Она бывала у него ровно столько, сколько требовала перевязка. Она сильно похудела, хотя двигалась опять теми же легкими шагами. Только в глазах застыло странное — виноватое и вместе с тем злое — выражение.

Она застала его, когда он чистил оружие. Было так приятно опять прикасаться к холодному металлу, заглядывать в канал ствола и знать, что ты снова вооруженный человек, что ты не беспомощен и можешь биться, что он нарочно продлил это удовольствие, хотя коптилка почти выгорела и в подвале было так темно, что он не мог уже заметить матового блеска, легкого зеркального налета на металле, и это было неполное удовольствие.

Мария остановилась на лестнице. Почему-то он сделал движение убрать винтовку, как бы стыдясь своего занятия.

— Видно, выздоровел?

— Да.

— Значит, уходишь?

(Всегда бывает так: мужчина уходит, а женщина остается. Он уходит от матери, едва ему минуло пятнадцать лет, едва он почувствовал себя мужчиной. И если он еще остается, мало счастья для матери, ибо он уже мужчина, он знает все, что мать никогда не скажет ему, и, может быть, он уже стыдится матери за свое знание.)

Любимый уходит, потому что его ждет работа, а так мало мужчин, которые бы променяли свое мужское дело на любовь. И мало счастья, если он остается, ибо тогда он не мужчина, он никогда не сделает большого дела, он слишком слаб, такой мужчина, и мало счастья иметь его, лучше сразу прогнать, может быть, он вернется мужчиной.

И надо перевести дыхание и незаметно вытереть глаза или идти с ним, если он захочет, чтобы ты шла с ним. Или остаться

ся и издали видеть, что он поступает, как мужчина, и гордиться им, и по мере сил догонять его, может быть, после работы или после войны он снова вернется к тебе, и ему будет приятно, что ты выросла и стала такой же, как он, наученной горьким опытом жизни и противоречивыми суждениями собственного ума.

Мало счастья, когда он уходит, и много счастья, когда он возвращается,— вот из чего состоит твоя жизнь, если тылюбишь его. Только они редко возвращаются такими, какими ушли, и тебе придется мириться с этим. А может быть, он не вернется, может быть, его возьмет в плен другое дело и другая радость или убьет пуля, которую ты могла бы отвести, будь ты рядом с ним, и тебе останется только делать его дело, как ты умеешь, и делать свое дело, как ты можешь. Мало счастья, когда он уходит. Мало. Да, мало.)

Он долго молчал и наконец твердо сказал:

— Да.

Ему показалось, она плачет. Черт его знает, что делать, если она заплачет. Он вспомнил ироническое замечание, что, когда женщина плачет, мужчина курит. И поймал себя на том, что ищет папиросу.

— Как же я?

— Мы скоро вернемся, Мария.

Он одевался, торопливо застегивая пуговицы и ремни. Он не мог больше слышать ее просительного голоса. Гранату он сунул в карман, и рукоятка торчала, словно горлышко бутылки.

Когда он взглянул на нее, уже одетый, готовый уйти — вот только палка нужна, нога проклятая все еще сдает,— он увидел грустные глаза, сжатые губы.

— Присесть надо перед уходом.

Топчан был мал, и они сели рядом. Он слышал толчки ее сердца. Она сказала:

— Боишься, что не выдержи?

— Не надо, Мария.

— Эх, ты!

(Все они такие, когда уходят. Они боятся сказать правду и начинают лгать, что ты не можешь делать, как они. Хорошо, что он не лжет. Хорошо, что он просто молчит. Надо вставать. Время. Не вечно же сидеть рядом. Поцелует ли он ее перед уходом? Да, надо вставать.)

— Пошли.

Она встала первой, чувствуя, как тягостно ему молчать. Он послушно поднялся и, сдерживая стоны, вылез в узкий люк. Он даже не оглянулся на убежище, где она спасла ему жизнь.

— На лыжах можешь идти?

— А разве они есть?

Она вывела его в сени и отвалила приставленные к стене доски. За ними стояли лыжи с креплениями. Он заметил, что дальше была еще одна пара, но Мария заслонила их.

— Спасибо,— сказал он.— Прощай!

— Прощай!

— Мы скоро вернемся, Мария...

— Да.

Они стояли под низким темным небом. Некрупные звезды мирно висели над ними. Он вспомнил, что она не одета, и заторопился.

— Прощай. Мы вернемся.

— Да. Да.

Он пожал руку, взглянул в лицо, но не увидел ничего, кроме сухого блеска глаз. Пощупал палкой снег, тронул лыжу,— легко. К утру он дойдет до базы, если ничего не случится. И зачем-то еще раз повторил:

— Прощай.

Идти было трудно. У изгороди он еще раз оглянулся. Она стояла на месте. Белое пятно кофточки под сараем. «Простудитесь»,— мельком подумал он. Лыжи утопали в снегу. Он сразу вспотел. Встав здоровой ногой на нижнюю жердь изгороди, он перекинул больную. Светлого пятна под сараем больше не было. Он вздохнул. Слышались чужие хриплые голоса. Как в ту ночь, когда он ждал ее. Она принесла лекарства. Ей тяжело. Она любит его, но это не главное. Главное — она ненавидит врага. А от остального можно излечиться. Мороз, и дым костра, и ночные налеты, и огонь автомата — хорошие лекарства против приступа тоски. Они излечат хоть кого. А если даже не излечат? Если даже ему придется платить долги, свои и чужие, многих людей, которые прошли мимо простого привязчивого сердца?

Ему представилось, как улыбаются друзья. А может быть, он плохо думает о друзьях? Может быть, они стали взрослее и вдумчивей? Ночь у костра старит человека, а стрельба заставляет его пересмотреть многое, казавшееся непогрешимым. Труссы становятся храбрецами, и старые воины умирают, как новички. Может быть, он ошибся...

Он стоял под окном. Он слушал жалкий приглушенный плач покинутой женщины. Дьявольски болела нога. Он стукнул в окно костяшками пальцев. Белое лицо прильнуло к стеклу.

— Мария, пойдём. Я жду, Мария...

ДОРОГА К ДОМУ

I

Поезд, извиваясь, выскользнул из тоннеля, вытянулся, как перед прыжком, и вдруг, задрожав всеми вагонами, остановился над самой рекой, словно побоялся сорваться в воду. Река была ослепительно белой, она лежала под солнцем неподвижно, можно было думать, что она уснула от зноя, устав после долгого трудного пути в горах. Горы расступились, выпустив ее, и замерли вдалеке, синие, огромные, похожие на грозвые облака.

Соловаров вылез из первого вагона, прищурился, вглядываясь в белую реку, в синие горы, в дрожащее марево раскаленного воздуха, словно припоминая, где и когда он видел нечто подобное. Потом вдохнул полной грудью влажный воздух, как будто хотел вытеснить из груди духоту и тяжелые запахи вагона, и задышал часто-часто, никак не успевая напиться пахучим, свежим ветром от реки и дальних гор. Так он стоял с минуту, пропуская нетерпеливых городских пассажиров, что уже были дома и торопились поскорее открыть своей квартиры, сразу забыв о дальнем пути и его заботах. Соловаров стоял неподвижно у самых ступенек, не обращая внимания на то, что его толкают углами чемоданов и корзины, волочат мешки, вздымая пыль. Стоял среднего роста сорокалетний солдат из демобилизованных, с усталым и жестким лицом, которое словно разучилось улыбаться, высохло в боях и походах. Но вот под короткими колючими усами тоненько зазмеилась улыбка, и лицо Соловарова словно осветилось изнутри, потеплело, чуть дрогнуло. Прохожие удивленно взглянули на солдата, вдруг изменившегося на глазах, но из вагона раздался сухой и какой-то болезненный оклик:

— Тима, ты тут?

Лицо солдата снова стало сухим и твердым, он повернулся к вагону и быстро ответил в темный тамбур:

— Давай мешок, Константиныч, я приму...

Из душного тамбура выполз мешок, обычный, солдатский, не слишком туго набитый, затем показался и тот, кто окликал Соловарова. Молодой паренек с болезненно исхудалым лицом, которое и без слов говорило о долгой госпитальной жизни, с тонкими, поджатыми, словно бескровными губами, опирающийся на костыль еще неуверенно, с трудом опустился на пыльный горячий перрон. Несколько мгновений он стоял молча рядом с Соловаровым, приглядываясь к новой картине и тяжело дыша.

Соловаров, не оборачиваясь к товарищу, задумчиво и тихо сказал:

— Красота...

— Река как река,— сухо ответил младший и переступил костылями.— Пойдем или тут и останемся стоять? — сердито спросил он, оглядываясь на Соловарова.

— Да, да,— спохватился Соловаров, поднимая свой мешок и прилаживая его на плечи.— Тут два шага до пристани. Да вон она, вот и пароход стоит, отсюда видно, что это «Добрыня». Значит, сегодня и уедем. Хорошо!

Говоря эти торопливые слова, Соловаров вскинул на плечо и второй мешок, принадлежащий товарищу. Солдат на костылях сердито потянул мешок за лямки.

— Отдай. Нечего за мной ухаживать, я не барышня.

— Брось ты, Константиныч, для меня это не ноша.

— Отдай, говорю. Не век ты ухаживать за мной будешь. Пора привыкать.

Он неловко подвернул согнутую в колене ногу, обмотанную толстым слоем бинтов и слишком короткую, чтобы казаться живой, хотя ступня ее была цела. Выругавшись, он переставил расползающиеся по асфальту костыли и снова протянул руку к мешку. Соловаров кашлянул и шагнул вперед, словно не заметив этого движения. Тогда молодой зашагал следом, подпрыгивая неравномерно и с трудом.

Ослепительно белая река лежала перед ними, похожая на расплавленное серебро. Она казалась бескрайней, потому что от солнечного блеска глазам было больно смотреть на противоположный берег. Белые пароходы стояли у товарных пристаней.

Соловаров скинул мешки возле бухты каната, указал товарищу на нее, чтобы тот присел, вытер ладонью пот с лица.

— Сейчас я оборудую с билетами и насчет обеда. Отдохни куда.

— Я не устал,— ответил молодой и отвернулся к воде, которая здесь, в тени, казалась свинцовой.

Вернувшись через полчаса, Соловаров застал товарища все в том же положении, сидящим на бухте, опустив лицо на ладони, и глядящим в бегучую воду. Костыли лежали на полу дебаркадера, упав, должно быть, от неловкого движения. Константин не нагнулся за ними, не смотрел на мешки, не видел людей, толпившихся рядом и поглядывавших на него с тем жалостливым соболезнованием, которое постоянно таится в душе русского человека.

Соловаров задумался, правильно ли было тащить искалеченного парня в непривычные для него северные места, в ураль-

ские горы? Константинов не видит ни красоты, ни того потайного изобилия, которое может открыться здесь знающему человеку, да и что ему до того, что местные реки полны рыбой, леса — зверем, горы — золотом, поля — хлебом, если все эти богатства добываются тяжелым трудом, к которому он, искалеченный войною, совсем не способен. Может быть, и вправду надо было оставить его в госпитале, как просил Константинов, там, наверное, нашли бы ему подходящую работу, там он, может быть, скорее забыл бы об утраченных близких, об исчезнувшем доме, о потерянной молодости... Но, подумав об этом, Соловаров сердито тряхнул головой, провел ладонью по лицу, словно стирая досаду, так что лицо снова стало спокойным, и окликнул Константинова.

Последние два года войны они провели рядом. Казалось, ничто не соединяло их, сорокалетнего и двадцатилетнего, ни землячество, ни характеры. Константинов родился и прожил всю жизнь на Смоленщине, да и жизнь эта была короткой, только и знал он в ней свой колхоз да школу, которую помнил лучше, чем работу, потому что работал еще мало. Соловаров же пришел на войну с Урала, где побыл всем понемногу: горщиком — добытчиком самоцветного камня, охотником — ловцом дорогого зверя, председателем колхоза, старостой в лесорубных и плотницких артелях, то есть всю свою жизнь прожил в самостоятельном труде, в заботе о многих делах и людях. Может быть, именно это и послужило причиной их неловкой и немного смешной дружбы... Слишком уж труден был даже в разведывательной роте, где собирались самые смелые и отчаянные люди, молодой красноармеец Константинов. Лишь значительно позже узнал Соловаров, что из всего хлебопашеского рода Константиновых в селе Верей уцелел один Михаил... Но сдружился пожилкой этот человек с Константиновым значительно раньше, сдружился именно потому, что привык жить, как рачительный хозяин, в заботе о людях, в думах о них. Он и в роте был старшиною, что опять-таки было привычно именно заботою о людях, будто он так и остался даже на войне председателем колхоза или старостою артели лесорубов. Только теперь душевный разговор шел не о постанях на лесоповале или на жнитве, а о ночном поиске, о ранах, о переднем крае врага.

Последний раз, и тяжело, Михаил Константинов был ранен на реке Нейсе, когда был уже виден конец войны. Его увезли с раздробленной левой ногой в тыловую госпиталь. Если бы у Константинова были где-нибудь родные или близкие люди, очень может быть, что Соловаров никогда бы больше и не услы-

шал о нем. Иной раз он вспоминал бы о товарище, как вспоминал о многих других людях, с которыми приходилось делить и горе и радости. Но у Константинова не было близких. И он написал письмо Соловарову в роту.

Бывают слова, от которых переворачивается сердце и долго в нем таится боль. Такими словами Михаил описал свое горе. Нога у него осталась, но вряд ли будет он когда-нибудь наступать на нее, щупать босыми пальцами колкие весенние травы, ходить по стерне после жнивья. Пуще всего хотелось Михаилу, чтобы в последние дни войны товарищи отплатили немцам за его кровь и раны. И по тому, какими словами написано было письмо, понял Соловаров, что трудно живется молодому его приятелю.

После расформирования части Соловаров сделал крюк в двести километров и заехал в госпиталь, где выздоравливал Михаил. И уговорил его поехать на Урал, где есть дом, в котором он никому не будет в тягость, где найдется работа по силам больному человеку, где сам воздух лечит людей, а горы заставляют забывать все, что заслоняет горизонт, что туманит глаза. Так лег их путь через всю страну и приблизился к дому...

— Билеты будут, Константиныч,— нарочито беспечным голосом сказал Соловаров.— Пароход отвалит через час, так что на нем и пообедаем. Там для демобилизованных особый буфет есть и даже по сто граммов выдают.

Константинов медленно обернулся к товарищу. На солнце лицо его казалось еще более бледным и тонким. Оно было бы, пожалуй, красиво, если б не тени по углам губ, если бы не застывшая, словно навек, гримаса страдания и обиды. Он посмотрел прямо в глаза Соловарову и сердито сказал:

— Какого черта, Тимофей, ты все время так говоришь, будто подрядился утешать меня? И слова просто не скажешь!

Соловаров смотрел на него, опешив от неожиданности. Михаил выдавил на тонких бескровных губах подобие улыбки, потом снова нахмурился, словно ему было трудно удерживать эту улыбку.

— Ну вот что, старик, я дальше не поеду...— тихо выговорил он, словно прочел то, о чем только что думал Соловаров.— И ты меня извини, и я на тебя сердать не стану. На войне была у нас дорога общая, а на миру пора расстаться. И не пяль ты на меня глаза, пожалуйста, я не продажный, смотреть не на что. Спасибо за заботу, обратно я и сам как-нибудь подамся...

Гулко пронесся над водой гудок парохода, словно ударялся о ее блестящее зеркало, подпрыгивал и снова касался воды, но уже более спокойным касанием. Соловаров молча поднял

мешки, свой и товарища, подал Константинову костыли, потом сказал:

— Ну, двигай за мной, пароход сейчас пристанет...

— Да ты слышал меня или нет?

— Хватит, наслушался,— сурово ответил Соловаров.

— Не хочу я в твою глухомань ехать! От нее до города семь дней добираться будешь, а опоздаешь — сам же говорил — реки замелеют и пароходы ходить перестанут. Я уж лучше прямо в собес пойду, пусть меня в инвалидный дом отправят...

— Я тебе и там инвалидный дом обеспечу. Не в ногах счастье, была бы голова на плечах, а ты все ее норовишь потерять...

Он отвернулся от Константинова и пошел в проходные комнаты дебаркадера, на которых была надпись «Для демобилизованных», не глядя на товарища, который досадливо потоптался на месте и запрыгал за ним. В комнате Константинов присел на краешек скамьи с выгнутой спинкой, заново покрашенной и пахучей, и принялся свертывать сигарку трясущимися пальцами. И было видно по их поведению, спокойному у Соловарова и злomu у Константинова, что происшедшая сцена явилась лишь повторением многих предыдущих, в которых осиливал всегда старший. Дав Константинову немного успокоиться, Соловаров снова заговорил добродушным тоном:

— Ты у меня через две недели забегаеть, как молодой жеребец. Я тебе такую невесту сосватаю, что ахнешь.

— Оставь, Тимофей,— устало сказал Константинов и откинулся на скамье, судорожно запрокинув бледное лицо.

Соловаров вскочил и бросился с кружкой к эмалированному бачку. Набрав воды, он подбежал обратно и брызнул в лицо Константинову. Тот с усилием открыл глаза. Соловаров поднес кружку к его губам, постепенно приподнимая ее, как поят маленького. Потом уложил Михаила на скамье, сунув мешок под голову. Человек пять демобилизованных, находившихся в комнате, подошли к ним.

— Обескровел,— сказал один из них.

— Да он здоров, жара только стомила,— нехотя ответил Соловаров.

— Где ранен? — деловым тоном спросил другой, с двумя нашивками на груди и с негнущейся рукой.

— На Нейсе,— ответил Соловаров.

— Там немцы здорово дрались,— поддержал третий, совсем пожилой солдат. — Лечить его надо.— Он кивнул на Михаила.

— Небось, дома оклемаются,— сказал четвертый весело,— там и стены за него постоят...

— Нет у меня дома,— неожиданно сказал Константинов, с усилием приподнимаясь.— Некому за меня постоять. В чужой дом он меня тащит...

— Теперь каждый дом — свой,— так же весело сказал четвертый солдат.

— Нет у меня дома,— упрямо повторил Константинов.

— Он что, твой товарищ? — спросил четвертый солдат у Соловарова.

— Да,— ответил Тимофей.

— Плохой товарищ,— сказал четвертый, скучно вздохнул и пошел к своему мешку. Уже присев на скамью, из угла зло крикнул: — Его за волосы из беды, как из воды, тащат, а он еще упирается: мне, мол, на дне все видней! Какой же это товарищ?

Остальные солдаты отошли вслед за ним, переговариваясь между собою, словно Михаил перестал интересоваться их. Константинов тяжело приподнялся на скамье, оглядел их и сказал, с усилием произнося слова:

— Здоровому да семейному хорошо. Дома жена баню топит...

Первый солдат с досадой стукнул ногой. Звук был такой, словно ударили деревом по дереву. Константинов снова лег и закрыл глаза. Соловаров тихонько отошел к солдатам, сказал:

— И обижаться нельзя, семья побита, сам инвалид...

— Это ты правильно сказал,— заметил солдат с протезом.— Только трудно тебе с ним будет. Я таких, которые с белыми губами, знаю, рассмотрелся. Они к жизни неласковы, ну и она к ним тоже.

— У нас на Колве жизнь трудная, за нее поневоле держаться будешь...

— И это верно,— сказал солдат.— Если только он не из трусливых.

— Два года с ним провоевал...

— На войне не в миру,— с досадой сказал солдат.— Там храбрым быть вроде и легче...

Дебаркадер качнулся от удара. Подвалил пароход. Затем раздался долгий гудок, топот ног — началась посадка.

II

Двое суток они плыли по реке. Демобилизованных на пароходе собралось много, и дорога оказалась шумной, разговорчивой и веселой. Но люди постепенно уходили, а новые не прибывали, так что Михаилу стало казаться, что придет время и

они с Соловаровым останутся в одиночестве, в такую пустыню везет их пароход. И в самом деле берега становились все пустышнее, глуше, деревеньки встречались все реже, а река все синела, словно вытекала из самого неба. Больше пароход не подкашивал к пристаням, шел ходко, возле деревенок долгими гудками заранее вызывал лодку, и старший помощник сбрасывал в лодку тугие пакеты с письмами, посылки. Последний демобилизованный солдат, тот, что был без ноги, поцеловался с Соловаровым и Михаилом — в пути они совсем сдружились — и прыгнул в лодку, громко стукнув протезом о деревянные стлани. На берегу, далеко-далеко, над синей водой голосила женщина, но голошенье это было радостным, должно быть, она узнала мужа, несмотря на расстояние. Солдат долго махал шапкой Михаилу и Соловарову и все кричал, чтобы не забывали, спустились бы по осени в гости к нему в низа.

Михаил задумчиво смотрел на товарища, все теснившегося к борту и еще подававшего какие-то советы солдату. Ему теперь казалось даже, что Соловаров как-то вырос, стал шире в плечах, уверенней, словно родной воздух исцелил его от долгих военных забот и горя. И еще было одно удивительно Михаилу. На все и про все Соловаров смотрел с практической точки зрения, не было в нем излишней, этакой любопытствующей жалости к людям, а между тем люди, с которыми встречались они в эти дни, к Соловарову относились особенно душевно, поверяли ему самые тайные думы и горести. Чем же пленял их этот невысокий человек с рябоватым спокойным лицом? Душевной простотой своей, что ли? Но он не так уж прост! И, оборвав эти размышления, Михаил сердито спросил у Соловарова, который наконец откачнулся от борта с такой грустью, словно потерял родственника:

— Одно ты мне не сказал, дядя Тимофей, зачем ты меня к себе возьмешь? Для толку?

— А что ж,— с усмешкой сказал он наконец,— вот выколочу из тебя всю бестолочь, один толк и останется... Так-то, племянничек.

Тимофей прищурил глаза и отвернулся, копясь в мешке, но и Михаил глядел в сторону, на чистую синюю воду. Он все удивлялся этой редкой синеве и чистоте воды, хотя Соловаров объяснил ему, что чем выше в верховья, тем чище будет вода,— ледниковый цвет, изумрудный набор.

— Письмо от Пьянкова к супружнице сохранил? — вдруг сурово спросил Соловаров.

— Сохранил,— вздрогнув, ответил Михаил.

— Что скажешь ей?

— То и скажу, что заказано,— недовольно ответил Константин.— Скажу, что вместе лежали в госпитале, что на глазах умер, только и всего...

— Ну и глупо,— сказал Тимофей, хмурясь так, что шевельнулись мохнатые брови.— Письмо Пьянков дал тебе, чтобы успокоить жену, а ты будешь сердце ей бередить... Рассказать ей о муже надо так, чтоб душу утешить...

— А как? — снова вспыхнув от ярости, спросил Михаил.— Как о смерти расскажешь? Что это — выпивка или вечеринка с танцами?

Пьянков умирал в том же госпитале, где вылечивался Михаил. Они были ранены в одном бою, но у Пьянкова оторвало обе ноги, его подобрал поздно и, как врачи ни старались, не спасли солдата. Умирал он рядом с Михаилом, умирал тяжело и долго. Приходя в сознание, он все просил Михаила доставить его последнее письмо жене, передать через Соловарова или другого земляка, когда вернется Михаил в роту. Но Соловаров отказался взять на себя передачу письма, он вез самого Михаила, словно нарочно для того, чтобы Михаил хлебнул чужого горя, будто ему не хватало своего. И Михаил подозрительно поглядывал на Соловарова, догадка эта уколола его сердце.

— Вот мы и дома,— вдруг сказал Соловаров спокойным голосом.

Михаил увидел длинную песчаную косу, разделявшую две одинаковых реки, сливавших здесь свои синие воды. На той реке, что текла справа, далеко под горою виднелся дебаркадер, потемневший от тени, бросаемой горою. А на горе белели колокольни и дома, теплые, осиянные солнцем. И хотя был вечер, солнце по-северному было еще высоко в небе, разве только жар от него был теперь как бы призрачным, воображаемым. Пароход подваливал к пристани, разводя волну, на которой покачивались рыбацкие лодки и плоты.

Небольшая группа пассажиров вывалилась одновременно с дебаркадера, оглядываясь на пароход — свое временное пристанище. У подножия горы стояли подводы. Михаил спросил:

— Ты телеграмму давал, чтобы нас встретили?

— Зачем? — спросил Тимофей.— Телеграмма, она волнует человека. Это тебе не письмо. А добраться до дому, когда ты на пороге,— самое простое дело. Здесь нас каждый кустик ночевать пустит, каждая стежка за руку поведет...

Пассажиры рассаживались по подводам, кое-где еще торговались с подводчиками. Михаил сердито поглядывал на Тимофея и прибавил шагу, тяжело выбрасывая тело между костылями.

Маленький седой старичок с длинным кнутом, одетый в армяк из домотканой шерсти, каких Михаил нигде не видывал,

преградил им дорогу и закричал преувеличенно радостным, как показалось Константинову, голосом:

— Которые демобилизованные, айда сюда, с ветерком прокатим!

— Денег, отец, не хватит,— попытался отшутиться Михаил.

— Кто о деньгах говорит, служивый? — восхищенно удивился старичок. — Это ж добровольная помощь, потому, как это, что вы ветераны! Давай, давай, служивый! В какой колхоз путь держишь?

Тимофей, следивший с добродушной усмешкой за этими переговорами, выдвинулся вперед и громко сказал:

— Что ж, Игнатий Никитич, спасибо на привете, мы с товарищем не откажемся. Давно на телеге не ездили, все больше на автомобиле приходилось...

— Поломался наш автомобиль,— грустно сказал старичок и вдруг взвизгнул, узнавая: — Да это же Тимофей Соловаров! Тимоша! — и потянулся, обнимая солдата. — А это кто же с тобой, не признаю? И обличье незнакомое, и говор будто не наш?

— А это мой богоданный племянник, Михаил Константинов, в гости к нам едет...

— Вот счастье-то Варваре, ждала одного, а двух заполучила! Наша Настя почти что к каждому пароходу ездит, а все своего сокола не встретит...

— А где она? — осторожно спросил Соловаров.

— Да вон высматривает мужика своего на горке... С ней, значит, и поедем. Ты на моей подводе, а племянник на Настинной...

Михаил глянул на горку, где стояла молодая женщина, прикрыв рукой глаза от резкого солнца, и все смотрела в толпу растекавшихся пассажиров. Резкий толчок в сердце почувствовал он, словно давно уже знал, что так вот и увидит жену Пьянкова. Если б даже не видал он ее фотографии, все равно узнал бы по рассказам товарища: такая отличная от всех, тихая, с внимательным и достойным видом стояла она в стороне, ища потерянного мужа. Он побледнел и невольно оперся на край телеги. Старик испуганно сказал:

— Ай плохо тебе, служивый?

Тимофей пристально смотрел на Константинова, и в глазах его была укоризна, словно он хотел сказать, что не ожидал такой трусости от товарища. Отвернувшись от Михаила, Соловаров сказал:

— Вместе с Пьянковым воевал Михаил. Был такой случай, прорвались два немецких танка на переправу, что мы охраняли. Было это на немецкой реке Нейсе... Как раз Пьянков и Михаил сваю вбивали на том берегу, после бомбежки мост чинили. Один танк Пьянков остановил гранатой, а другой...

— Значит, не вернется к Насте Серега?

— Нет...

— Так что же ты бледнеешь, парень? — строго спросил старик. — Али там смелости было много, а здесь не хватает? — Он взял Михаила за руку, обернулся к женщине и крикнул: — Настя, иди сюда, есть пассажир для тебя... Поехали!

Михаил видел, как поднялась грудь женщины от долгого и тяжелого вздоха. Она повернулась и медленно сошла к подводу. Узнав Соловарова, распахнула длинные ресницы, вдруг бросилась к нему, обнимая.

— Тимофей Семенович! Может, весточку привез от Сереги?

Тимофей взглянул на Константинова, и тот медленно сунул руку в карман гимнастерки. Тогда Тимофей сказал:

— Прими Серегиного дружка, Настя. Есть у него письмо к тебе. Вместе они смерть встречали, а выжил один...

Лицо Насти вдруг сделалось белым, но рука не дрожала, беря письмо. Не глядя на Михаила, она сказала:

— Садись, служивый, в гору тебе трудно будет идти...

Первая телега тронулась. Старик и Соловаров шли рядом с нею, держась за грядки. Вывоз был крут. Настя подобрала вожжи и пошла за телегой, все еще держа письмо в руке. Михаил сидел спиной к лошади и прятал глаза, чтобы не видеть болезненно вопросительного взгляда Насти. Шла она теперь очень тяжело, словно ноги у нее подгибались, раскачивалась всем корпусом, но молчала. И Михаил подумал, что было бы ей легче, если б передал это письмо Соловаров, если б она поплакала на его плече, потому что сочувствие знакомого человека милее для души.

Так они поднялись в гору. Настя села на передок телеги, оглянувшись, удобно ли пассажиру, подвинула к нему мешок с сеном, чтобы было на что опереться, и понукнула лошадь. Лицо ее стало словно каменным, все черты обострились, на лбу образовались поперечные складки.

Письмо она так и не стала читать. Тягостной была эта дорога, хотя в лесу пели птицы, светило солнце, на вырубках пахло ягодой и грибами, а там, где начинались поля редких деревьев, сочно шумела рожь и пшеница, радуя глаз. Только радость была мимолетной и для него и для Насти, она не трогала сердца. И все острее хотелось Михаилу сойти незаметно с подводы, укрыться в лесу, переждать, пока скроется согнутая спина Насти, чалая ее лошадка, дребезжащая телега, а потом повернуть обратно и ковылять к пароходу, чтобы увез он его с его горем-злосчастьем подальше от этого чужого горя. Вечерело, когда показалась вдали деревня, запахло теплым избяным и хлебным духом, послышалось блеяние овец, мычание коров. Первая

подвода приостановилась на взгорке, поджидая их. Соловаров спрыгнул с телеги, помог сойти Михаилу, тихо сказал:

— Благодарю хозяйку. Ей одной легче будет. Не на людях же горе горевать. Завтра все ей расскажешь...

Настя словно не слышала их короткого разговора. Старичок, отец Насти, стоял поодаль, осунувшийся, постаревший. Но когда Михаил запрыгал на костылях мимо него, сказал спокойным голосом:

— Спасибо, служба, за вести. Не ты в том виною, что вести печальные...

Широко распахнулась калитка в резных воротах, загрохотали двери дома, раздался женский крик, потом выбежали пожилая женщина и две дочери Тимофея, повисли на его морщинистой шее, не замечая Михаила, а он стоял и думал о том, как несправедлива к нему судьба. Никому не принес он радости тем, что остался жив, только сожаление видит он в равнодушных глазах посторонних людей. Нужно ли было ехать в эти глухие места, надо ли было искать чужой радости, когда нет своей?

Тимофей что-то шепнул жене, она оторвалась от него, подошла к Михаилу, протягивая широкую твердую руку, сказала:

— Милости просим в дом, будьте ласковы...

Девушки-погодки, одна лет шестнадцати, другая — семнадцати, подражая матери, протянули руки Михаилу, сказали похожими певучими голосами:

— Входите в дом за брата, за родича, пусть жизнь вам будет легкой, крыша теплой, еда сытой...— и поклонились низко, как, должно быть, велел уральский обычай.

У Михаила защипало в горле, он склонил голову, пряча глаза, с усилием налег на костыли и прошел в ворота. Перед ним был высокий дом, венцов на восемнадцать, с непривычно высокими окнами, на уровне второго этажа, крутая лесенка вверх, откуда пахло давно забытым теплом домашнего очага, запахом сена, хлеба и парного молока. Он вошел в дом первым и вдруг опустился на лавку у порога, ослабев от усталости или от того, что застлало глаза туманом, от чего задрожали руки и ноги, — от ощущения родного дома. Но в следующее мгновение он оторвался от лавки и снова встал, глядя исподлобья на жену Тимофея, на него самого: все-таки дом этот был чужим.

III

Итак, все здесь было чужое, начиная от неярких луговых цветов над рекою, что были видны из горницы, кончая неразговорчивыми, как будто хмурыми людьми, что окружали его.

Никто не беспокоил Михаила, не напоминал ему, что он только гость, и, наоборот, не упрекал его в том, что он живет, как гость, не принимая участия в жизни большой деревни, что раскинулась за окнами дома. Правление колхоза выписало на него продукты, каждый день доярка с молочной фермы приносила литр молока, хотя жена Тимофея и отказывалась принимать его. Целые дни дом был пуст: вся семья Тимофея и сам он уходили на поля, где началось жнитво, страдные дни. В пустом доме неумолчно жужжали мухи, иной раз в открытое окно залетала пчела или оса, досаждая особенно громким звуком, напоминавшим гудение снаряда. Вечером семья сходилась в дом, к столу, за которым для Михаила было отведено место в красном углу, рядом с Тимофеем. Если Михаил притворялся спящим, его будили, без него за стол не садились. Утром же ему оставляли завтрак на столе, прикрытый рушником с вышивками, совсем такими же, какие делала на рушниках мать Михаила. В обед приходили или жена Тимофея, или одна из дочерей, приходили словно бы по домашнему делу, но Михаил видел, что домашнее дело было предлогом, просто приходили накормить его, услужить за столом. И никто ни слова не говорил о том, что пора ему перестать чувствовать себя гостем, пора начать трудиться.

Настю он не видел. Приходил ее отец, долго сидел на кровати Михаила, курил, говорил: «Да, да, грехи наши, господи, да, да», — слушая рассказ Михаила о смерти зятя, повздыхав, уходил, чтобы снова прийти на следующий вечер вздохнуть над ухом Михаила, повторяя изредка свое присловье: «Да, да, как это, да, да, грехи наши, господи...» Приходили еще два инвалида, один без правой руки, другой без левой. Они мрачно шутили, что из них двоих получился бы один вполне приличный пахарь или тракторист, но держались спокойно. Они работали в колхозе, хотя Михаил не спросил, какую же работу нашли в колхозе для калек. Ему казалось, что только эти два товарища по несчастью понимают его состояние. Но, удовлетворив свое любопытство, инвалиды перестали навещать его, и тогда Михаил с горечью подумал, что все окружающие его — равнодушные люди.

Настя пришла как-то утром, когда все домашние уже ушли. Она стояла у порога горницы, куда только что проник утренний луч солнца. В этом почти призрачном свете лицо ее показалось Михаилу скорбным и гневным, так что он смотрел на нее с некоторым испугом. Он встал, роняя костыли, опираясь рукой о стенку, и попросил ее присесть. Настя осталась на месте и спросила так, словно они и не прерывали какой-то долгой беседы, может быть, начатой ею еще тогда, на телеге:

— Трудно он умирал?

Михаил ответил раньше, чем успел подумать:

— Умирать всегда трудно...

— Неправда, служивый, жить бывает труднее...

Он молчал, не зная, какими словами утешить эту молодую и такую в то же время старую женщину, у которой через весь высокий лоб пролегли морщины, каких не нанесла на его лицо даже война.

— Что он тебе сказал перед смертью? — спросила она.

Можно было солгать, что Сергей думал и говорил о ней, но Михаил помнил, как умирающий заговорил о танках, должно быть, ему показалось, что он все еще в том бою, когда им пришлось отражать атаку немцев на мост.

Настя смотрела в глаза Михаила и ждала, а он не мог солгать и не мог сказать всю правду. Он осторожно выговорил:

— Сергей умирал в беспамятстве... А до этого написал вам письмо...

— Правда... — задумчиво согласилась она. Потом посмотрела на него с неожиданным и странным любопытством и спросила: — А это верно, что вы по счетной части можете?

Вопрос был неожиданный, как неожиданно она перешла на вы, словно все грубое и страшное, что говорить только на ты, было сказано и теперь между ними возникли какие-то новые, так сказать, официальные отношения. Он смущенно ответил:

— Нет... Кто вам сказал?

— Наши ребята. Вы, сказали, грамотный, а то у меня фуражная ведомость не сходится, а председатель голову оторвет, если какая проруха будет...

Тут он заметил, что в руках она держит тетрадку, сминая ее постепенно в трубочку. Он невольно протянул руку.

— Может быть, разберусь...

С какой-то робостью она прошла к столу, присела на краешек скамьи, впервые обвела комнату задумчивым, нелюбопытным взглядом, словно лишь для того, чтобы узнать, как он живет. Михаил развернул тетрадь. Это была счетная книга молочной фермы, тут же лежали ведомости на полученный фураж, на выданное молоко. Настя терпеливо сидела в той же неловкой позе. Михаил мельком взглянул на нее и удивился, как она молода. Теперь лицо ее стало спокойным, видно было, что ей не больше двадцати лет.

— У вас дети остались? — спросил он.

— Нет, — коротко ответила она. Потом, по-видимому, подумав, что ответ прозвучал грубо, пояснила: — Мы ведь только перед его уходом в армию поженились. В сорок третьем.

Он кончил считать, все в книге было в порядке. Она поблагодарила кивком, собрала записи, сказала:

— А не скучно вам дома сидеть? Все в избе да в избе... Вышли бы как-нибудь на улицу...

— Трудно и непривычно,— ответил он, ударив ладонью по костылю.

— А как же совсем которые без ног вернулись?

— Не знаю.

— Ну, спасибо за помощь,— сказала она уходя.— Сама бы я не знай сколько просчитала. Еще раз спасибо...

— Ну что вы, не стоит благодарности,— смущенно сказал он. И, подумав, добавил: — Заходите еще, если нужда будет...

— А у нас всегда нужда,— вдруг строго сказала она,— только беспокоить вас неловко,— и вышла, тихонько притворив дверь...

Улица была пуста. Михаил упрямо шел вперед, не видя конца этой прокаленной белой улице, на которой тени лежали решетчатыми письменами, словно предупреждали об опасности. Все тело ныло от усилия, с которым он передвигался. Костыли глубоко зарывались в пыль. С конца деревяни слышался звон металла и женский плач вперемежку с руганью. Женщина не умела ругаться, и потому все слова ее звучали горестно. Михаил усмехнулся этой жалкой бабьей брани. От этой усмешки стало даже легче.

Кузница, из которой доносился до него звон металла и голос женщины, вынырнула неожиданно. Все равно, дальше идти бы он не смог. Он привалился к стене кузницы, прерывисто дыша.

— Ой, господи, кто тут? — спросила женщина и выглянула из открытой двери. Увидав Михаила, она приободрилась, сказала: — А я уж невесть что подумала. Да вам никак тяжело?

Подхватив Михаила за локоть, она ввела его в прохладное темное помещение кузницы, где даже огонь горна казался жалким и тусклым. Усадила его на столбушок рядом с наковальной, подала холодной воды в тuesке. Михаил отдышался и пристально посмотрел на женщину. На больших серых глазах ее еще не высохли слезы.

— Да и вам не легче,— неловко улыбнувшись, сказал он.

— Где уж тут легче! — простодушно согласилась женщина, но сразу поправилась: — Одно у меня, хоть руки-ноги целы, а вы вон чуть дышите... Чего это вы один-то вышли? Али забота какая?

— На помощь вышел,— снова усмехнулся Михаил.

— Какой уж из вас помощник, сидели бы лучше дома, силы накапливали. Всему время будет, с вас пока что не спросится. Заслужили...

Он промолчал в ответ на эти участливые слова и спросил:

— А почему вы одна тут?

— Нету мужиков-то, не хватает на другие дела. А у меня муж в кузне работал, я присмотрелась.

— Где он?

— Там остался,— просто и спокойно ответила женщина.

Вдруг Михаил с удивлением подумал о том, что и Настя и эта вот незнакомая женщина говорили о смерти так просто, словно она не трогала их. А может быть, именно потому, что уж слишком горькой была смерть, они и старались забыть о ней. Нашла же Настя силы работать в тот день, когда он передал ей последнее письмо мужа, работала она и теперь. Хватило у нее силы прийти к нему, печальному вестнику. А Михаилу казалось, что никогда бы он не пожелал видеть человека, принесшего весть о несчастье.

Женщина смотрела на него с любопытством, но потом вдруг спохватилась и прошла к горну. Выхватив из огня два куска металла, она стала прилаживать их на наковальне. Ей было неловко работать сразу и клещами и молотом, обломки сползали с наковальни. Повернувшись к наковальне, Михаил предложил:

— Дайте, я подержу.

— Ну, если можете,— нерешительно сказала женщина.

Когда куски были сварены, он понял, что это был сломанный нож из жатки. И сама жатка стояла недалеко от двери, распахнув крылья, словно раненая птица. Михаил с любопытством смотрел, как женщина приладила нож на место. Машину она знала плохо, но терпение у нее было большое. А может быть, его присутствие ободряло ее. Он вылез из кузни, присел на землю, вытянув ногу, и сказал:

— Гайки тут обратного хода. Дайте-ка я раскручу...

— А вы и в этом деле понимаете? — с уважением спросила женщина.— Тимофей говорил, что вы по счетной части.

Неловкое подозрение, что Настю прислал именно Тимофей и, может быть, только для того, чтобы пристыдить его, задело Михаила. Но он промолчал, во-первых, потому, что надо было смотреть в оба, чтобы нож не соскочил раньше времени и не поранил неловкую женщину, во-вторых, потому, что у него не хватало силы привернуть гайку, а женская рука была и совсем не к делу. Так он ползал вокруг жатки, временами забывая о боли, временами бледнея и откидываясь всем телом, чтобы прислониться к чему-нибудь и переждать острый приступ, когда неловко двигал большой ногой. Женщина смотрела на него сначала с изумлением, потом с благодарностью и даже некоторым страхом, словно боялась, что он может вдруг отказаться от дальнейшей помощи и оставить ее наедине с машиной. Вместо

одного ножа, который женщина хотела исправить, они начисто разобрали жатку и переставили все ножи, и теперь машина лежала бескрылая, беспомощная, может быть, женщина больше всего боялась именно того, что он может уйти.

На дороге показалась скачущая лошадь в хомуте. На ней сидел парнишка, закричавший еще с дороги:

— Скоро ли, Васса, сделаешь? Председатель бранится!..

Увидев Михаила, он застыл с широко открытым ртом, потом медленно сполз с лошади и присел в стороне, так и не закрыв рта.

Женщина собирала жатку, повинаясь коротким указаниям Михаила. Не удержав тяжелый шкворень, она крикнула парнишке, и тот начал робко помогать. Михаил с важностью доброго работника снисходительно сказал:

— Еще минут десять...

Втайне он побаивался, что крылья жатки не будут вращаться, что ножи будут цепляться один за другой. Уже три года он не прикасался к сельским машинам да и раньше-то разве лишь видел, как их ремонтируют. Но умел же он разобрать и прочистить такую сложную машину, как скажем, пулемет, значит, должен сделать и эту работу. А кроме того, было просто приятно ощущать запах масла, приятно было чувствовать, что металл подчиняется ему...

Парень запряг лошадь. Она помахала хвостом с безразличным видом и пошла. Женщина сидела на железной скамеечке для жнеца и с испуганным видом регулировала рабочие части машины.

— Не бойтесь, Васса! — громко крикнул Михаил, вздрагивая от скрежета металла. — Жатка действует!

До самого вечера в кузницу то и дело прибегали люди с мелкими делами. Одному надо было сварить литовку, другому — перековать лошадь, третий потерял чеку... И по тому, как скоры и требовательны были эти люди, чувствовалась напряженная работа в поле, ее могучий ритм, захватывающий всех. И уже никто не обращал внимания на Михаила, наоборот, и на него покрикивали, если он не успевал вовремя приковылять к горну или подать то, что требовалось занятому человеку.

Было уже темно, когда он добрался до избы Тимофея. Семья Соловарова сидела за столом. Михаил смущенно ждал, что сейчас начнут расспрашивать его о первом рабочем дне, но никто ничего не спросил, только Соловаров сказал, подвигая тарелку:

— Есть у меня пол-литра. Однако выпьем, пожалуй, в воскресенье. День будет нерабочий, удовольствия больше...

Михаил промолчал. Еда казалась вкусной, хотя все тело ныло, под мышками прощупывались волдыри от непривычно дол-

гой ходьбы. Но голова была ясной, усталость лишь обвевала ее. Хотелось спать, но даже зевота была сладкой и успокоительной. Соловаров поднялся из-за стола, сказал:

— Так я наряд на тебя на кухню выпишу. Думал по счетной части определить, но раз ты и в машинном деле горазд, придется там оставить... К осени дом тебе отгрохаем, а пока что невесту присматривай. Ну, пошли, брат, спать...

Все было так просто, что стало несколько печально на сердце. Впрочем, и печаль эта была тихой и сладкой, как сонная зевота, как истома, ломившая тело. Михаил подобрал костыли и прошел вслед за Соловаровым в сарай, где пахло сеном и были разбросаны постели. Сквозь сон был виден дом и покой. Война кончилась. Кончилась бесприютная жизнь...

ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ

(Из цикла «Ироническая проза»)

I

Сидеть одному в окружении телефонов, радаров и пультов с сигнальными кнопками и ждать смену мучительно. Особенно последние полчаса. За стенками паршивой конуры, отведенной дежурному офицеру резерва, слышны голоса солдат, но Мортону наплевать на эти разговоры: последние полчаса самые тоскливые, даже дисциплина слабеет, и офицеры предпочитают не замечать этого.

Мортон сердито швырнул на стол потрепанную книжку, которую пытался читать, и закурил сигарету. «Пусть она будет последней, и пусть этот чертов Бобби придет на пять минут раньше!»

В коридоре послышались грубые удары кованых каблуков, дверь распахнулась, и на пороге появился Боб Стеннис. За плечами лейтенанта виднелись лица четырех солдат, похожих скорее на полицейских, сопровождающих арестованного, нежели на усердных подчиненных.

«Неужели я тоже похож на арестованного, когда прихожу принимать смену?» — усмехнулся Мортон, лениво поднимаясь навстречу.

— Лейтенант Стеннис явился для несения дежурства! — сухо произнес Бобби. И, обернувшись к своим охранникам, приказал: — Принимайте смену!

Солдаты рассыпались по клетушкам казармы. Голоса за стеной стали живее, громче. Мортон все так же лениво доложил: — В зоне и окрестностях спокойно. Днем механизированная разведка отважилась пройти на шестнадцатую милю, где вчера остался сожженный танк. К несчастью, они опоздали: танк повстанцы уже уволокли. И очень жаль. В штабе стало известно, что на танке стояли секретные приборы... У тебя найдется выпить?

После нескольких драк между солдатами командование базы запретило владельцам баров продавать виски навынос. В бараках солдаты находились под строгим присмотром сержантов. Но на лейтенантов это запрещение не распространялось. Служба и так была несладкой.

Бобби вынул из кармана брюк плоскую фляжку и протянул Мортону. Мортон отпил два глотка и вернул драгоценный сосуд.

Стеннис деловито проверил работу сигнальных устройств, мерцающие экраны радаров, подслушивающие аппараты, уши которых были вынесены не только за пределы базы, в расположение противника, но и в казармы,— мало ли о чем могут говорить солдаты! — и кивнул на дверь:

— Пошли?

Мортон надвинул поглубже каску и шагнул к двери. Это была последняя попытка. После проверки постов он мог идти хоть к черту. Мортон знал, что «черти» совсем близко, может быть, вот за этой дверью, но в центре базы находился бар «дядюшки Джо», в котором было тепло и уютно.

Стеннис, не скрывая зависти, сообщил:

— В полдень прилетели трое конгрессменов. С ними очень миленькие секретарши, машинистки и радистки. Сейчас они все в баре. Погутно летчики доставили дядюшке Джо новые запасы пойла. Сейчас там увлеклись коктейлем «Антарктида».

— А эти девочки из конгресса танцуют?

— Еще не начали. Наверно, ждут тебя,— съязвил Стеннис.— У них, милый, партнеров хватит! Сам генерал шел к дядюшке Джо. Хорошо, что я успел удрать до его появления. Встретил по дороге к тебе.

Стеннис прав. Все достается старшим по чину. Такие лейтенанты, как Мортон и Стеннис, могут довольствоваться «чайным домиком», устроением для офицеров «могучей Мегги», дамой среднего возраста и без морали. «Чайный домик» был совсем не похож на японские и назывался так только потому, что из-за тропической жары воспитанницы «могучей Мегги» ходили в тончайших кимоно.

Офицеры проверили внутренние посты и вернулись к казарме, где Мортон должен был подписать акт о сдаче дежурства. Сейчас Мортону было даже жалко Стенниса, и, когда тот остановился покурить, Мортон не стал возражать.

Южный Крест и перевернутая горбушкой вниз четвертинка луны медленно покачивались в тумане испарений, исходящих от джунглей. Больше ничего ни в небе, ни на земле не было видно. Из-за укреплений доносился странный, тягучий рев кайманов: наверно, они пировали на месте последнего боя с повстанцами. Повстанцы подползли по болоту с бамбуковыми трубками во рту, через которые они дышали, к самым позициям базы и обстреляли эти позиции минами с напалмом, теми самыми минами, которые они захватили в предыдущем бою у американцев. Мортон видел со своего наблюдательного пункта, как вертелись горящие солдаты, а их вопли все еще звенят в ушах. Не после этого ли он стал так много пить? «Старики», прослужившие тут больше года, говорили, что только виски отбивает слуховую и зрительную память у тех, кому доводилось видеть действие напалма... А тут напалм сжигал товарищей и друзей самого Мортонна. Если бы в тот проклятый день генерал не вызвал его в штаб базы с докладом, возможно, и он так же крутился бы и визжал до самого своего конца...

— Да, Бобби,— вспомнил он,— капитан Робертс, командир разведки, говорил, что на шестнадцатой миле, там, где танки применили огнеметы и напалм, снова вдоль всего шоссе выросла эта высокая, режущая трава, суданка, что ли, ее называют. А ведь прошло всего четыре дня... Пстой, что это?

Над крышей казармы в воздухе медленно скользило что-то белое, пролетело над головами и исчезло в темноте.

— Бабочка или летучая мышь,— неуверенно предположил Стеннис.

— Ночью белые бабочки не летают. А белых летучих мышей и вовсе не бывает.

— Еще! Еще! — тревожно прошептал Стеннис.

Оба таращили глаза, задрав головы к небу, где стайками летели какие-то белые крылатые существа. Одни скользили очень низко, казалось, можно схватить рукой, другие летели высоко, словно направлялись к самому центру базы. Переговаривались офицеры теперь шепотом, будто летящие существа могли услышать и понять их.

Одно из белых существ опустилось на землю в трех или четырех шагах от офицеров. Во всяком случае, они видели достаточно отчетливо, как оно трепетало, словно пыталось снова взлететь, но не могло. Мортон сделал шаг вперед. Стеннис еле успел удержать его.

— Только не ты! — прошептал он. И, таща Мортон за собой к дверям казармы, вполголоса приказал в открытые двери: — Сержант Вайс!

Грохоча каблуками, Вайс выкатился на крыльцо.

— Слушаю, сэр!

Стеннис уже овладел собой. Хотя они и научились здесь всего бояться, потому что все могло принести с собой смерть, но они умели теперь скрывать свой страх. Иначе они не могли бы командовать солдатами и посылать их навстречу гибели. Стеннис приказал:

— Прямо перед вами, в сорока примерно ярдах, лежит какой-то белый предмет. Подойдите к нему, осветите хорошенько и доложите, что увидите...— Мортон он держал за руку.

— Слушаю, сэр!

Сержант молодцевато прыгнул с крыльца, осмотрелся и, видимо, заметил то, о чем говорил Стеннис. Но шел он туда не так бойко. Однако подошел, включил мощный фонарь.

— Сэр, это стрела. Детская стрела, какие мы пускали из луков, когда играли в индейцев. К ней привязана бумага. Несколько листков. Тут есть еще такие стрелы...— И замолчал, словно увидел что-то неожиданное. Затем хрипло спросил: — Принести ее, сэр?

— Да, принесите, Вайс,— таким же севшим почему-то голосом сказал Стеннис.— Только не прикасайтесь к острию. Оно может быть отравлено.

— Оно не может быть отравлено, сэр! — странным голосом сказал Вайс и подошел к офицерам, неся длинную стрелу, к оперению которой действительно были привязаны несколько листков бумаги, аккуратные, четырехугольные, не больше доллара размером.

Фонарь Вайс выключил, и офицеры не могли понять, что это за листки. Но почему-то не стали освещать странную стрелу своими фонарями. Стеннис просто взял стрелу у сержанта и пошел вперед, кивнув Мортону: «Зайди!»

За Мортоном шел Вайс. Стеннис, оказавшись в конуре дежурного, мельком взглянул на стрелу и бросил ее под стол. Обернувшись к сержанту, он спросил:

— Расскажите, что вы увидели, Вайс?

— Стрелу, сэр, с бумажным оперением. Мы в детстве, сэр, делали оперение для стрел, сдирая перья с мячиков бадминтона или с живых петухов. А таких дурацких стрел я отродясь не видел! — Сержант пожал плечами.

— Хорошо, Вайс, идите. И ни слова никому об этой находке! А уж я найду того, кто решил баловаться здесь со стрелами! Наверно, начитался историй о летающих блюдах и о тех

болванах, которые их запускали с крыш, чтобы потешиться. Боюсь, как бы не потешились мы над этим стрелком!

— Есть, сэр! — ответил Вайс и вышел.

— Какая глупая шутка! — сказал Мортон.

Стеннис плотно прикрыл дверь и, понизив голос, тихо сказал: — Боюсь, что это не такая уж глупая шутка. Смотри!

Он вытащил стрелу из-под стола и положил перед Мртоном.

Стрела была из бамбука, в полметра длиной. К ее оперению были веером привязаны бумажки, прошитые ниткой. Мортон впился взглядом в одну из них.

На бумажке было напечатано:

ПРОПУСК НА ВЫХОД С ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ

Оставившие оружие на базе могут идти группами до тридцати человек; вооруженные — не больше пяти. Слушайте наше радио по всем каналам вашей сети сегодня в ноль-ноль часов. В случае, если ваши приемники будут отобраны, слушайте завтра наши громкоговорители. Все покинувшие базу в течение семидесяти двух часов будут излечены от начавшегося сегодня психогенеза и отправлены на родину.

См. на обороте.

Мортон оторвал листок от стрелы и приблизил к глазам. Там более мелким шрифтом было напечатано:

ПСИХОГЕНЕЗ

Человечество принадлежит к одному корню. В каждом человеке заложены гены белой, красной, желтой и черной расы. Наши древние мудрецы знали способ воздействия на гены. Мы вновь открыли его. Сегодня мы объявляем: американская база находится в зоне мощного воздействия на гены. В течение семидесяти двух часов каждый, подвергшийся психогенезу, приобретает все особенности наиболее ненавидимой им чужой расы. Покинувшие до срока базу получают препарат, возвращающий им прежнее состояние, и будут отправлены на родину. После этого срока лечение может оказаться недейственным и заблуждающиеся останутся неграми, индейцами, малайцами, китайцами, в зависимости от их ненависти к той или иной расе. Иного спасения от психогенеза нет. Вы травите нас газами, мы пытаемся сделать вас людьми!

Повстанческий комитет.

— Что это может значить? — растерянно спросил Мортон. — Глупая шутка?

— Хотел бы я знать, что успел прочитать Вайс, когда подобрал стрелу? Вот что меня интересует больше всего! — сухо выговорил Стеннис. — Ты заметил, как у него изменился голос, когда он доложил, что это просто стрела с бумажками?

— Оставь в покое Вайса и скажи, что ты думаешь сам об этом? Сам! Понимаешь?

— Я уже все понял! — шепотом сказал Стеннис. — Прислушайся!

По коридору кто-то прокрался так тихо, что даже половицы не скрипнули, не стукнула дверь.

— Вот и ответ на мой вопрос! Вайс прочитал только слова «Пропуск на выход...» И он кого-то послал за листовками! И сейчас они их читают. Поэтому за стенками так тихо. А тот, кого он послал, пошел босиком, хотя все они боятся змей.

— Брось ты молоть чепуху о Вайсе! Вайс — преданный человек!

— Да, да, преданный! — яростно зашептал Стеннис. — Он предан, как ты, как я! Но он тоже всего боится в этой проклятой стране! А сейчас он еще станет бояться, что превратится в негра!

— Но как он может превратиться в негра?

— Послушай, Мортон, не валяй дурака! Тут же все сказано! Он будет бояться, потому что это психогенез! Воздействие на психику! Такое же, какое грозит тебе, когда тебя вызовут в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности и ты будешь думать, что тебя могут сделать коммунистом! Вот что, Мортон, я избавлю тебя от хлопот! Они не по твоему характеру! Подписывай акт о сдаче дежурства! И выкатывайся отсюда. Я сейчас доложу генералу.

II

Мортон медленно брел к бару. Глаза постепенно привыкли к удушающей темноте тропической ночи, и он видел стрелы... Их было очень много. Должно быть, повстанцы подползли к базе со всех сторон и обстреляли ее так плотно, что если бы это был минометный или автоматный огонь, то... Мортон вздрогнул, нагнулся, поднял одну из стрел и аккуратно оборвал все бумажки. На некоторых стрелах их уже не было. Значит, не только Мортон, Стеннис и генерал знают о новой диверсии повстанцев, но и другие. Да и как можно было бы уберечь это в тайне? Ведь повстанцы обещали передачу по радио...

В баре все было в порядке. Музыкальный автомат наигрывал что-то бурное, несколько пар танцевали на полутемном кругу, подсвеченном снизу плафонами, вделанными в пол; у стойки сидели и стояли офицеры, свободные от дежурства. Навстречу Мортону сразу протянулось несколько рюмок — его любили за щедрость и веселость.

Он выпил один за другим три коктейля и только тогда принялся незаметно присматриваться к офицерам: кто из них знает? Нет, он не мог угадать. Тогда он повернулся к зеркалу и принялся рассматривать свое лицо. Оно было спокойно, чуть усталое лицо только что отдежурившего офицера, и никаких особых мыслей или забот прочесть на нем было нельзя. И вспомнил: когда учились в форту Брегг, среди прочих дисциплин преподавалась и выдержка. Ведь они готовились сражаться с партизанами, а учителя говорили, что партизаны жестоки и изобретательны в пытках, которым подвергают попавших в плен. А не притворно ли все это веселье?

Снова взглянув на часы, он увидел, что время близится к половине двенадцатого, и попросил дядюшку Джо завернуть пару бутылок. И только тут заметил, что зал пустеет...

Люди исчезали как-то незаметно. Возможно, через черный ход. Обычно в баре засиживались до двух-трех часов ночи, если нет дежурства с утра, а сейчас исчезли уже многие заведатаи Те, которые знали...

В этот момент радио начало громко перечислять имена офицеров, которых вызывал генерал. Офицеры прекратили танец. Те, кого называли, горопились к выходу. Мортон надеялся, что его оставят в покое, ведь он только что отдежурил, но назвали и его.

Выскочив из бара, он ахнул: вся база была освещена. И усмехнулся: генерал знал дело. К каждой казарме был приставлен караул. Не видно было ни одного солдата. Во все стороны расходились офицерские патрули — по двое — один шел с портфелем, другой собирал стрелы, срывал с них билетки и складывал в портфель. Иногда офицеры менялись обязанностями.

Из штаба навстречу Мортону шли беглым шагом новые и новые патрули. Часть офицеров, тоже по двое, входила в казармы. Мортон понял: собирают приемники. Но уж наверняка кое-кто из солдат припрятал свой транзистор. И не один Вайс, должно быть, украдкой входил за пропусками...

Начальник штаба, не слушая приветствий Мортонa, взглянул в расписание.

— Мортон, явитесь к месту предыдущего дежурства! Будете в распоряжении Стенниса до особого приказа. Быстро!

Хорошо хоть то, что он окажется рядом со Стеннисом. Бобби — настоящий друг!

Офицерский патруль уже обследовал казарму резерва. На столе у Стенниса лежали десятка два приемников разного размера, от «сережки», которая надевается прямо на ухо, до солидного «комода», в котором заключены и приемно-передающее устройство, и магнитофон, и проигрыватель. Стеннис мрачно рассматривал это нагромождение.

— Ты уверен, что собрано все? — спросил он.

— Конечно, нет. Вайс не сдал свой транзистор! — ответил Мортон. — Я видел, у него «Ташиба», японский.

— Почему, черт возьми, приемники не вписаны в солдатскую книжку?

— Кто же знал, что партизаны прибегнут к такой провокации?

— А ты уверен, что это провокация? — Стеннис хмуро взглянул на Мортон и крикнул в переговорное устройство: — Вайс! Вайс появился в дверях непривычно мрачный.

— Где ваш приемник «Ташиба»?

— В мастерской. На ремонте, сэр!

— Распишитесь. Два месяца тюрьмы, если приемника в мастерской нет.

— Извините, сэр, возможно, его принесли, пока мы сменяли караул.

— Вполне возможно, Вайс. Сходите и посмотрите тщательнее!

— Есть, сэр!

Он вернулся через три минуты и бережно положил транзистор на стол.

— Разрешите идти, сэр?

— Идите, Вайс.

Стеннис включил штабное радио и попросил Мортон:

— Выбери из этого дерьма какую-нибудь пиццалку, Дикки. Сейчас прикажут включить.

Действительно, штабное радио передавало приказ Стеннису — включить транзистор на любую передачу с родины, Мортон — записать содержание передачи и возможные пометки.

Стеннис отыскал передачу из Техаса. Мортон улыбнулся: оба они были техасцами, и было приятно слышать долгие гласные и придыхания на согласных, как будто с тобой разговаривает кто-то из родных. Мортон записал:

«23.55. Супер Техаса. Новости штата».

Диктор неторопливо описывал чье-то бракосочетание, потом зазвучали знакомые имена, шло перечисление гостей. Стеннис пробормотал:

— Интересно, узнают ли они меня, если я вернусь индейцем?

— Не сходи с ума, Бобби! — сердито остановил его Мортон.

В приемнике что-то взвыло, голос из Техаса начал удаляться, как будто торопился на родину, и возник другой голос, твердый, жесткий, с чуть заметным акцентом. Мортон торопливо склонился над блоком.

«Говорит радиостанция «Свободный народ»! — записывал Мортон.— Передаем ультиматум штаба повстанческой армии командованию, офицерам, сержантам и солдатам американской военной базы «Спринтер».

В ультиматуме сообщалось то же самое, что было напечатано в листовках. Закончив чтение ультиматума, тот же голос добавил:

— Очевидно, командование постарается скрыть от рядового состава базы наше предупреждение. Поэтому завтра с утра мы будем передавать его через громкоговорители, поставленные возле базы. Просьба к солдатам, когда им прикажут обстреливать эти громкоговорители, не уничтожать их, чтобы все могли узнать содержание ультиматума...

Что-то щелкнуло в приемнике, и тexasский голос вернулся обратно. Но Мортон его уже не слышал. Он сломал карандаш и сидел, склонив голову, глядя на неразборчивые каракули.

— Интересно, что сейчас делает генерал? — хрипло сказал Стеннис. Он вытащил из стола свою флягу и разлил виски в бумажные стаканы, стопкой стоявшие возле графина с водой. Один пододвинул Мортону, из второго выпил сам.

— Думаю, то же самое, что делаем мы! — Мортон примерился к уровню жидкости и проглотил ее в один прием.

— Нет, его так просто с ног не собьешь! И потом, у него же под штабом «экранированное» убежище!

— Не думаю, чтобы это было похоже на радиацию! — хмуро усмехнулся Мортон.— В биологии я не силен, но откуда у повстанцев атомные реакторы или бомбы? Они и оружие-то берут у нас. Впрочем, завтра мы это увидим.

— Почему завтра?

— Они дали нам три дня. Значит, если это не блеф, то первые перемены произойдут быстро.

— Смотри-ка,— ехидно буркнул Стеннис.— Наш Фома Неверный тоже поддался психогенезу! Ты же только что говорил, что все это одна пропаганда!

Мортон сжал кулаки. Он не любил ехидства. Как ни говори, но они однокурсники. И служить им вместе, к чему бы это ни привело. И замер, вытаращив на обидчика глаза.

— Что ты на меня так смотришь?

Стеннис вскочил на ноги, провел рукой по лицу.

— Н-ничего, н-ничего! — пробормотал Мортон.

Но Стеннис уже не слышал. Выдвинув ящик, он лихорадочно рылся в бумагах, пока что-то не загремело под рукой. И вытащил маленькое зеркало, перед которым они брились по утрам после дежурства.

— Я ничего не вижу! Нет! Нет!

Он отрицал это так яростно, что Мортону снова показалось, что у Стенниса лицо становится медным, а нос горбится и кончик его отвисает вниз, тонкий, хищный, как клюв птицы. Но Стеннис уже успокоился и швырнул зеркало обратно в стол.

По селектору прозвучал сдержанный голос начальника штаба:

— Офицерам, свободным от дежурства, явиться немедленно! Мортон вскочил на ноги, кивнул Стеннису и выбежал из дежурной комнаты. Он побоялся оглянуться, чтобы не привиделись еще какие-нибудь перемены на лице товарища.

Перед дверью штабного здания Мортон привел себя в порядок и вошел медленно. Он помнил, что у входа висит зеркало. Надо было посмотреться.

Зеркала не было.

На стене осталось только светлое пятно на порыжевших от солнца обоях.

«Значит, дело зашло далеко! Кажется, уж такие-то вояки, как наш генерал, могли бы и не пугаться. Ведь он воевал и на Филиппинах, и в Корее, и в Индокитае! Почему же тут он сходит с ума? А может, это я схожу с ума?» — Мортон ткнул пальцем в светлое пятно. Бумажные обои неприятно заскрипели.

Ну, а ты-то, милый Дикки, не испугался? Почему ты так пристально разглядывал лицо Стенниса? И почему у тебя все время такое ощущение, будто губы выворачиваются, как после хорошей попойки, хотя ты выпил не так уж много? Что если это тоже психогенез? Надо же было этим туземцам придумать такое дьявольское название! Любой идиот понимает, что речь идет о давлении на психику. А какая у нас психика, если все мы перепуганы войной, бомбами, напалмом, все пьем по квартире в день, выкуриваем по полсотни сигарет, глотаем наркотики, если, конечно, достанем, лишь бы хоть немного отвлечься от того, что тебя окружает и что тебе угрожает... Тут поверишь не только в психогенез, а и в самого сатану со всеми его чертями. Хотя, пожалуй, тут похуже, чем в славном старом библейском аду.

Стой, Мортон! Дальше так нельзя! Ты что-то стал задумываться над тем, о чем тебе думать не следует. Ну, приди же в себя, убери с лица этот страх, сейчас ты предстанешь перед строгими очами старших офицеров, а они умеют читать не толь-

ко твои письма домой, мамочке, но и мысли по твоим глазам...

Мортон сделал суровое лицо опытного солдата — так ему, во всяком случае, казалось, проверить без зеркала он не мог — и вошел в штабную приемную. Десятки глаз обратились к нему. Все молчали. Мортон прошел к зашторенному окну и остановился там. Темные шторы несколько поглощали свет, и ему казалось, что тут его труднее разглядывать.

Генерала еще не было. А может быть, он находился за той тяжелой дверью, что охраняла комнаты с сейфами, вход в подземные казематы и «экранированные» убежища, как поговаривали младшие офицеры, которые никогда не бывали по ту сторону двери. Может быть, он там совещается с этими тремя конгрессменами, которые прибыли сюда за государственный счет поразвлечься со своими хорошенькими секретаршами и стенографистками, а кроме того, и утешить бедных солдатиков, что о них не забывает родина. Мортон уже повидал этих Великих Людей, в форт Брегг они тоже наведывались и говорили все одно и то же, очень может быть, что это и были одни и те же сенаторы и конгрессмены, специалисты по солдатикам, может, они еще в детстве играли в солдатика, а теперь очень рады, что могут поиграть с живыми солдатиками — это ведь так интересно — играть в войну, когда тебя самого убить не могут. Но здесь они, кажется, попались, так что им есть о чем поговорить с генералом, наверно, просятя домой, им спать пора, баиньки, у них там есть мамочки их деточек. а генерал, наверно, объясняет, что ночью дорога на аэродром блокируется повстанцами, что туда до рассвета и на танке не проберешься, а до утра они тут нахватаются столько этого психогенеза, что еще неизвестно, кем они вернутся в свой Вашингтон — неграми, китайцами или индусами?

А может, они просят генерала выпустить их вместе с их дамами, чемоданами и сувенирами под белым флагом, чтобы получить от повстанцев по таблетке от психогенеза, а вы оставайтесь, черт с вами, мы-то, в сущности, не военные, мы самые что ни на есть мирные люди, мы и слыхом не слыхали, что тут у вас идет война, мы вообще-то против всякой войны, только выпустите нас, миленькие повстанчики, а уж мы по возвращении домой тут же произнесем сто речей и сто сорок тостов в вашу честь и потребуем от президента, чтобы он немедленно прекратил всякие военные действия и вывел свои войска от вас...

Стоп, Мортон, так ты можешь додуматься до оскорбления государственного флага и самого господина президента, и тогда твои мысли станут проверять перед детектором лжи и тут уж,

будь ты хоть негром, хоть индейцем, тебе не отвертеться от лишения воды и огня, как это случалось еще с древних времен со всеми сомневающимися.

Черт побери, почему во всей комнате нет ни одного зеркальца? Спросить у кого-нибудь из офицеров? Вон стоит капитан Робертс и тоже косится по сторонам, наверно, и он подумал о зеркальце, пусть самом маленьком, таком, какие дамы носят в театральных сумках. Почему в офицерские планшеты не вдевают зеркальца, как в дамские сумки?

Вдруг все зашевелились как по сигналу — это тяжелая, бронированная дверь, за которой находились разные неизвестные тайны и секреты, бесшумно отодвинулась, и на пороге появились генерал, конгрессмены и несколько старших офицеров. Так, значит, у них там и в самом деле происходило тайное совещание, и сейчас нам объявят, о чем договорились эти бонзы с нашим генералом? Плохо дело, Мортон!

Конгрессмены уселись сбоку от большого стола командующего базой, как-то не слишком уверенно поглядывая на офицеров. Сейчас они совсем не походили на тех облеченных властью и доверием важных птиц, какими видел их Мортон в баре. Наверно, и в их тупые головы проникло понятие «психогенез».

Генерал пригласил офицеров садиться, но большинство осталось поглядывать стены, кто где стоял. Генерал тоже остался на ногах. Он откашлялся, заговорил нервно, быстро:

— Господа офицеры, вы все уже знаете, что повстанцы предприняли психологическую атаку. Мы связались по радио с высокопоставленными работниками госдепартамента и сообщили содержание ультиматума повстанцев. В данную минуту в госдепартаменте проводятся важные консультации с видными учеными страны. В шесть часов утра мы получим точный ответ на поставленные нами вопросы: а) имеет ли ультиматум повстанцев какую-нибудь научную почву или это только психологический трюк в той грязной войне, которую они ведут против сил порядка, защищаемых нами с позиций общечеловеческого гуманизма, б) какими мерами ответить на беспрецедентное бесстыдство так называемого повстанческого комитета? До шести часов утра вы свободны...

— Еще шесть часов этой пытки? — вдруг простонал Робертс. Он не сел даже, а как-то боком упал на стул и закачал головой, как смертельно раненный. Генерал жестко крикнул:

— Что с вами, Робертс? Вы ведете себя, как истеричная баба!

— Зеркало! Где зеркало? — вдруг завопил Робертс. — Дайте мне посмотреть на себя! — И вдруг, выпучив глаза, вперился в

генерала, протянув к нему дрожащий палец.— Посмотрите на себя, сэр, вы же чернеете!

Генерал отпрянул от стола и сунул руку во внутренний карман мундира. «Ага, он уже не расстается с зеркалом!— зло-радно подумал Мортон.— Вот так они поступают всегда! Как говорили древние: что позволено Юпитеру, то не позволено быку!»

Но у генерала выдержки было побольше, чем у какого-то капитана Робертса. Он тут же вынул руку из кармана и рявкнул:

— Капитан Робертс, выйдите вон! Я отстраняю вас от командования. Капитан Синклер, примите роту Робертса!

Мортон и не заметил, как исчезли конгрессмены. Ну ясно, что им делать, этим крысам, на тонущем корабле. Сидят, наверно, по своим комнатам и плачут и стенают, как на реках вавилонских. И их секретарши и стенографистки тоже исчезли. Вот умора, если эти люди вернуться домой черными! Не от загара, а по-настоящему, как положено нигерам! Хотя о чем это я?

В это время в радиэфоне прозвучал встревоженный голос Бобби Стенниса. Он обращался к генералу:

— Сэр, докладывает лейтенант Стеннис. Пост, расположенный у ворот базы, не отзывается на сигналы. Разрешите взять второй взвод и проверить положение?

— Да! И немедленно! — Выпученные глаза генерала остановились на Мортоне.— Направляю к вам лейтенанта Мортон со взводом из роты Робертса. Никого из расположения базы не выпускать! — Генерал отстранился от микрофона и снова взглянул на Мортон.— Лейтенант, вы слышали мой приказ?

— Да, сэр!

— Так чего же вы стоите?!

«Дался я ему. Как будто тут нет более опытных офицеров. Ах, да! Если повстанцы действительно облучают базу какими-то своими лекарствами, то у ворот действие лучей сильнее. Ах, подлецы!»

Но дисциплина сработала железно. Недаром же в форту Брегг их приучили повиноваться беспрекословно. Он увидел себя уже бегущим по плацу к казарме роты Робертса и окончательно пришел в себя только после собственной громкой команды:

— Первый взвод, стройся!

Как видно, генерал успел передать по внутренней коммуникации связи приказ об отстранении капитана Робертса и о передаче в распоряжение Мортон первого взвода. Сержанты толпились в дверях, возле которых стоял офицерский патруль. При первых словах Мортон солдаты высыпали на плац. Все они были одеты по форме, видно, так и не раздевались всю ночь: си-

дели и размышляли или проклинали своих начальников, по милости которых превратились тут в подопытных кроликов.

Стало совсем светло. Мортон оглядел взвод. Возбужденные лица перекошены, глаза бешеные, однако солдаты еще подчиняются. Мортон приказал:

— На пост номер один. Бегом!

Придерживая планшет, чтоб не колотил по ногам, он побежал рядом со взводом. Два сержанта замыкали шествие.

Стеннис и его люди уже возились в бетонном укрытии за воротами базы и что-то делали там. О, дьявол, они поворачивали свои пушки и пулеметы в сторону базы! Ну, да! Они волочили тяжелые бетонные плиты и устанавливали их так, чтобы защититься от своих, если те вздумают стрелять. А по плацу шла к воротам странная процессия: мужчины и женщины в цивильной одежде, волокущие чемоданы и размахивающие белыми тряпками, полотенцами и ночными сорочками.

Мортон спрыгнул в окоп. Стеннис грубо выругался и наклонился к микрофону:

— Сэр, эти подлецы-конгрессмены задумали улизнуть. Они ползут к воротам в полном составе. Что прикажете делать?

Взбешенный голос генерала прорычал:

— Полосните очередь над их головами! Только постарайтесь не попасть в казармы! И предупредите, чтобы немедленно возвращались назад.

Стеннис выскочил на край окопа и заорал:

— Эй вы, трусы и шлюхи, ползите назад! — Обернулся, командовал потише: — Над головами — пулеметная очередь! Вайс!

Вайс припал к пулемету, и тот затараторил так громко, что заглушил псалом и истерический женский визг. Мортон видел только разинутые рты. Конгрессмены и их дамы рухнули. Мортон даже подумал: «Кажется, прикончили!» Но потом там началось какое-то шевеление, и вот все шествие поползло обратно, оставив на месте сражения чемоданы, портпледы, дамские сумочки. Вайс огорченно оторвался от пулемета, буркнул сам себе:

— Лучше всего было бы пришить эту падаль к земле. Мало ли что случается на войне. Глядишь, президент наградил бы их посмертно за храбрость.

— Помолчите, Вайс! И давайте-ка приволоките сюда десяток надолб. Вдруг какой-нибудь идиот вздумает прорываться на броневике или на танке.

— Против танка мы не удержимся!

Стеннис сделал вид, что не заметил, как Вайс опустил обязательное «сэр», и насмешливо сказал:

— Это все-таки не повстанцы, с ними справиться легче!

За краем леса огненным мечом прорезалось солнце. Стеннис взглянул на часы и сказал:

— Ну, сейчас начнется!

— Что начнется? — не понял Мортон.

— Музыка! — хмуро пошутил Стеннис.— Помнишь, они сказали, что начнут передачу для солдат в шесть утра?

Мортон тоже поглядел на часы. Было шесть. Из дальнего леса послышались крики птиц, потом обезьяний ор. Джунгли приветствовали восход солнца.

И в ту же минуту из леса, а кое-где и прямо из-за колочей проволоки, через которую был пропущен ток в две тысячи вольт, заговорили репродукторы:

— Ами! Если вам прикажут стрелять, старайтесь не разрушать репродукторы!.. Ультиматум повстанческого комитета!.. Вы убиваете нас, мы стараемся сделать вас людьми!.. Психогенез и его действие!..

Стенниса вызвал штаб. Он выслушал приказ и передал Мортону:

— Огонь по замеченным репродукторам!

Стрельба уже слышалась по всей границе базы. Мортон тоже приказал открыть огонь.

Но было поздно. Репродукторы произнесли последние слова ультиматума:

— К вам обращался повстанческий комитет! — И начали передавать гимн

Судя по громкости и отчетливости музыки, стрелки базы сегодня не отличились особым умением вести прицельный огонь. А ведь среди них половина числилась снайперами и получала специальную доплату-премию за каждое попадание!

На этот раз они смотрели больше друг на друга, на Мортонна, на Стенниса, но и смотрели-то воровато, украдкой, словно боялись: взглянут и не узнают один другого. Какая уж тут стрельба!

В 6.10 по селектору послышался приказ генерала:

— Стеннису и Мортону сдать дежурный пост капитану Коллинзу. Солдат отправить на отдых. Явиться в штаб для доклада!

Из-за казарм на полной скорости вывернулись «виллис» и броневик и затормозили возле ворот. Коллинз и его сержанты выскочили из машины, солдаты остались в броневике. Коллинз озабоченно спросил:

— Ну, как у вас?

— Пока тихо,— ответил Стеннис.— А вы что, собираетесь за зону?

— Да. Генерал приказал произвести разведку.

Он досадливо поглядел на оголенные напалмом и ядохимикатами джунгли, по которым была проложена бетонная дорога на аэродром, крикнул одному из сержантов:

— Чарли, останетесь со своим взводом здесь. Остальные — со мной.

Он взобрался в «виллис», помахал рукой, приказал в переговорное устройство: «Ребята, за мной!» — и выехал за ворота. Броневик устремился за «виллисом», как слон за гончей.

Мортон посмотрел, как Вайс передает пост Чарли. Солдаты Чарли занимали места тоже лицом к базе, как будто в джунглях не было никакого противника. Очень похоже, что в штабе ждут бунта. Но с кем в случае бунта будут солдаты Чарли?

Он козырнул сержанту и медленно пошел вслед за своими солдатами. Солдаты шли не в ногу, что для воспитанников форта Брегг было просто невероятно.

Проследив, как они под опекой Вайса скрылись в казарме, у дверей которой по-прежнему торчал офицерский патруль, Мортон и Стеннис пошли в штаб. Оба еле плелись, измученные бессонной ночью и полной неизвестностью, которая ждала их.

Только что произошла смена, и в приемной опять было много офицеров. Сейчас все выглядели утомленными, апатичными, словно уже уверились в самых худших предположениях.

В 6.15 генерал появился из-за дверей. Теперь его сопровождал только начальник штаба. Никакой помпы.

Генерал держал в руках узкий листок расшифрованной радиограммы. Он остановился у самых дверей и хрипло прочитал:

«Приказываю исполнить свой долг до конца. Америка молит за вас. Командующий экспедиционными армиями США».

Он повернулся уже к дверям, когда послышался голос по селектору: «Сэр, докладывает капитан Коллинз! Арестованный офицер Робертс обезоружил часового и бежал через главные ворота базы».

— Проклятие! — Генерал бросился к столу, на котором были укреплены четыре микрофона. — Кто пропустил его через ворота?

— Взвод, охранявший ворота, дезертировал в полном составе. Возможно, Робертс и увел их. Часовой, придя в себя, бросился к воротам и был задержан. Утверждает, что гнался за капитаном Робертсом.

— Поблагодарите его за службу и препроводите в штрафную роту. Возможно, он хотел последовать за дезертировавшим офицером.

Селектор щелкнул; генерал вытер пот, сунул платок в карман и глухо сказал:

— Господа офицеры! Чрезвычайные обстоятельства заставляют особенно бдительно отнестись к нашему долгу. Каждый из вас обязан безотлучно находиться в своей части, предупредить солдат, что дьявольское ухищрение повстанцев придумано только для того, чтобы ослабить нашу мощь, что всех дезертиров повстанцы расстреливают в окрестностях базы. Я надеюсь, вы найдете убедительные слова. В дальнейшем все приказы будут передаваться в зашифрованном виде. Получите свои коды у начальника штаба. Я еще свяжусь с командованием. Предупреждаю, что весь этот трюк с так называемым «психогенезом» — чистое мошенничество. Командование консультировалось с крупнейшими учеными, и они ответили отрицательно на вопрос о возможности такого явления. Вот их акт! — Он передал еще одну радиограмму начальнику штаба, и тот внятно, но как-то не очень убедительно прочитал, что виднейшие биологи страны ответили на вопрос о возможности воздействия психогенеза на человека категорическим и единогласным отрицанием.

Генерал снова скрылся в своем убежище, а начальник штаба и его офицеры принялись раздавать заготовленные заранее коды. Стеннис и Мортон получили кодовые книжки и вышли.

III

Стеннис приказал Мортону спать, а сам пошел к солдатам. Вот всегда получается так. Если наваливается тяжелая работа, Стеннис берет ее на себя. Раньше Мортон сердился, протестовал, даже ссорился. Но сегодня он был доволен.

Он проснулся около полудня. Солнце пробивалось в щели жалюзи, и тени лежали на полу, словно лестница в безвестность. Губы больше не выворачивало, рот не саднило от боли, но, может, все это лишь потому, что он уже привык, а на самом деле у него не лицо, а негритянская маска? Он осторожно ощупал губы — как будто все в порядке.

Где же Стеннис? И как прошла его беседа с солдатами? Впрочем, почему как? Все беседы всегда проходят одинаково. Солдаты выслушивают излияния офицеров так же мрачно, как и приказы, не возражают, не пытаются просить разъяснений, как будто им все давным-давно ясно и знают они куда больше, чем поучающие их офицеры. Так же, наверное, кончилась и эта болтология...

Он прислушался: за стенами каморки было тихо. И вдруг вскочил на ноги. А что, если...

Но что — если? Ты же не думаешь, что Стеннис мог оставить тебя, если он?..

Он распахнул дверь. Казарма была пуста.

Ступая почему-то на цыпочках, как можно бесшумнее, он обошел все помещения, заглянул в комнату сержантов, в оружейную мастерскую, в склад. Все двери были настежь, вещи лежали на своих местах, не было только оружия. Выглянув за дверь, он увидел залитый солнцем плац, такой пустынный, словно тут никогда и не было ни одного человека. Так же на цыпочках он вернулся к сигнальному пульту и только тут увидел придавленный пепельницей листок бумаги.

«Дик, мы сменили капитана Коллинза. Приходи на главный пост. Стеннис».

Мортон вынул из кобуры пистолет, проверил патроны, зарядил запасные обоймы и только тогда вышел из казармы.

Ничто не изменилось. Никого не было на всем плацу. Не было и офицерских патрулей возле казарм. Только жаркое солнце, удушающий запах джунглей да крик обезьян: в полдень они собираются на кормежку в манговом лесу и, наверно, проклинают американцев, которые осыпали весь лес ядохимикатами, убивающими листву, и отравили плоды. Генерал утверждал, что эти химикаты безвредны для людей и животных, но Мортон сам видел трупы обезьян и туземцев, то ли попавших под ливень из ядов, то ли поевших отравленных плодов. Вот так всегда. Мы несем прогресс, а приносим напалм, яды, смерть. А где-то в конгрессе «бешеные» требуют, чтобы мы сбросили здесь бомбу. Что же случится тогда?

Он вдруг испугался самого себя. Своих странных размышлений. Может быть, это тоже действие психогенеза? И прибавил шагу. Надо было идти к людям.

До сих пор самым жестоким в военной службе для Мортоня было полное отсутствие одиночества. Даже у себя в комнате он не мог почувствовать себя одиноким. Контрольные аппараты вызова, необходимость нажимом кнопки докладывать начальству, что ты явился к себе на отдых, да еще всякие следящие и подслушивающие аппараты, о которых бывалые офицеры рассказывали новичкам, возможно, ради шутки, а может, и всерьез,— все это не оставляет даже лазейки, чтобы почувствовать себя человеком. А сейчас ему больше всего хотелось оказаться на людях...

В окопах полного профиля, защищавших теперь ворота базы от нападения изнутри, торчали металлические каски и пробковые шлемы. Перед окопами высились металлические надолбы, впаянные в бетон. Очень может быть, что перед надолбами уже заложены и мины. Недаром же выскочивший навстречу Мортону Вайс бежит какими-то зигзагами. Коротконогий,

словно бы квадратный, сержант машет флажком, чтобы Мортон остановился.

— Лейтенант Стеннис приказал провести вас к нему, сэр! — доложил Вайс и пошел впереди. Да, он шел зигзагами, как ходят лисы.

— Здорово окопались! — насмешливо сказал Мортон, спрыгивая в окоп.

— Да, сэр! Отбили две атаки и ни одного раненого, — флегматично ответил Вайс.

— Что?

Мортон оглянулся, и ему стало не по себе. Бетонная площадка перед казармой номер один была изрыта минами. Такие-то воронки Мортон знал хорошо.

— Эти сумасшедшие связисты ринулись на нас без предупреждения! — спокойно сказал Вайс. — Лейтенант доложил командующему, и тот приказал поставить заградительный огонь. Теперь они обожглись и дуют на лапки. А Сиди О'Конноли решил прорваться на броневике. Ну, пришлось поджечь. А то он бы нас тут передавил!

Влево от казармы номер один, у защитной стены базы, чернел сгоревший броневик. Он был даже не черный, а какой-то сизый. Видно, угодили напалмовой миной.

— Конноли жив?

— Уполз. На сигналы не отвечает.

Перед дверью командного пункта Вайс оставил Мортон, и он, пригнувшись, шагнул за бронированную дверь.

Стеннис сидел за столом, опустив голову на руки и как будто спал. Горела только одна настольная лампа, отодвинутая в угол. Мортон тихо позвал:

— Бобби!

— Хорошо, что ты этого не видел, Дик, — тихо сказал Стеннис. — Генерал совсем озверел. Когда я доложил, что дал только заградительный огонь и убитых нет, он сказал, что в случае повторения такой «шутки» — он так и сказал: «шутки!» — разжалует меня. А О'Конноли они расстреляли. Двадцать минут назад. На суд его принесли на носилках. Он был очень обожжен, и осколками ему перебило ноги. И они расстреляли его. Военный суд длился три минуты. Вот шифровка: «К сведению офицеров». К «сведению!» Ты понимаешь!

— Ч-черт, я забыл виски! — растерянно пробормотал Мортон. Ему хотелось, чтобы Стеннис выпил и снова стал самим собой, компанейским, веселым парнем.

— Виски нам привезли. И еду. А О'Конноли расстреляли. Оставь меня, Дик, пойдешь к связистам. Я хочу побыть один.

«Да, тебе нужно одиночество. А мне? О'Конноли даже не дали застрелиться. А что ждет нас?»

Мортон прикрыл дверь за собой и прошел на пункт связи. Два связиста, наверно, еще не знали о гибели своего техника. Ведь приказы офицерам передаются шифром. Но сидели они тихо, как пришибленные.

В пункт связи вошел Вайс. Лицо у него было серое, как у перепуганного негра.

— Разрешите обратиться, сэр?

Мортон заметил предупредительный знак и вышел вслед за ним из кабины.

— Сэр, лейтенант Стеннис не отвечает на вызов!

— Надо было зайти к нему.

— Сэр, дверь заперта изнутри. Я боюсь, сэр. Техник О'Конноли был другом лейтенанта Стенниса...

— Помолчите, Вайс! Возьмите карабин со штыком. Надо вскрыть дверь.

Штык со звоном вошел в паз, и дверь медленно подалась. Вайс отпрянул назад.

Мортон вошел. Стеннис как будто спал. Но Мортон уже увидел струйку крови на полу возле койки, на которой лежал Стеннис.

— Вайс, пройдите сюда!

Сержант вошел так боязливо, будто не видел мертвых. Впрочем, он, наверно, и не видел самоубийц. Он убивал сам и видел убитых. Но не самоубийц.

— Вайс, я сейчас доложу о смерти Стенниса и уйду в джунгли. Пойдете ли вы со мной или останетесь?

— Если вы позволите, мы уйдем с вами, сэр. Все. Солдаты тоже не хотят больше стрелять по своим.

— А если повстанцы расстреляют нас?

— Они не убивают пленных! И потом у нас есть пропуск.

Мортон включил переговорное устройство и, дождавшись ответа, сказал открытым текстом:

— Говорит лейтенант Мортон! — Он знал, что разговаривает с начальником штаба, но не стал утруждать себя шифровкой и прибавлять проклятое служебное словечко «сэр». — Я говорю с поста номер один. Лейтенант Стеннис застрелился в знак протеста против убийства О'Конноли. Я и мои солдаты сейчас покидаем пост и идем на пункт сбора пленных к повстанцам. Советуем и вам сделать то же самое, пока психогенез не свел вас окончательно с ума.

Он швырнул трубку и вышел из блиндажа. Ну, вот и все. Прощай, дружище Бобби, я больше ничем не смогу тебе помочь. Они, наверно, попытаются еще пострелять по нас!

Вайс уже строил взвод. Солдаты бросали оружие в кучу и топтались поскорее убраться за ворота базы. Откуда-то тявкнул миномет, но, видно, наводчику не хотелось никого убивать.

Безоружные солдаты шли довольно бойко. Вайс шагал рядом с Мортонем. Положительно он все больше нравился Мортону.

— А они не вздумают послать за нами танки?

— Покойный лейтенант придумал правильно: поставил мины, а план в штаб не передал. Я думаю, он бы тоже ушел, если бы они не расстреляли О'Конноли.

— Вы знали, что О'Конноли расстрелян?

— Да. Лейтенант сказал нам об этом. И приказал дожидаться вас.

«Бедный Боб! Приказал дожидаться, а сам ушел. Ушел туда, откуда нельзя вернуться!»

Солдаты неожиданно остановились. Мортон поглядел вперед. На развилке дороги стояли двое повстанцев. Автоматы закинута на плечи. Смотрят на приближающихся ами. С любопытством. Как будто нет никакой войны.

Он и Вайс подошли к повстанцам. Один молодой, видимо, солдат, второй — постарше, и, судя по нашивкам на правом рукаве, офицер. Но одет так же просто. Офицер спросил на отличном английском:

— Оружие есть?

— Нет.

— Пожалуйста, по дороге направо. На аэродроме есть самолеты. Они доставят вас к границе вашей родины. Первый самолет уже ушел. Идти до аэродрома придется пешком. Пока у нас нет транспорта.

Он кивнул совсем по-штатски и отошел к своему солдату. Мортон повел людей к аэродрому.

Теперь, когда первые формальности окончились так быстро и легко, солдаты совсем повеселели. Больше их никто не останавливал.

На аэродроме формальностей было больше. Мортон попросили построить солдат цепью, по одному. Очень похожие на таможенников люди тщательно обыскали каждого, кроме Мортон и Вайса, но искали, как понял Мортон, только оружие. Затем так же цепочкой их провели к медицинскому пункту. Там врач вручил каждому по коробочке таблеток и по бутылке кока-колы из аэродромного бара. Солдаты усердно глотали лекарство.

— А вы? — Врач удивленно смотрел на Мортон.

— Я не верю в психогенез.

— Почему же вы сдались? Ведь пока сдался только один офицер.

— Значит, капитан Робертс добрался до вас? — обрадовался Мортон.

— Да. Он уже улетел. И забрал бы все это зелье с собой, если бы ему разрешили. Но почему сдались вы?

— Мне нужно остаться в живых, чтобы выступить свидетелем, когда будут судить наших генералов.

— Ну, а они? Ваши генералы, конгрессмены и старшие офицеры? Что собираются делать они? Без солдат?

— Думаю, что они тоже идут сюда.

— Ну что ж, очень желаю вам добиться чего-нибудь на суде! — И врач протянул руку Мортону.

Вайс проглотил уже три таблетки. Широкое лицо его лоснилось от пота.

— Ну, как я выгляжу теперь? — спросил он Мортон.

— По-моему, вы постепенно превращаетесь в ребенка.

— Что? Ха-ха-ха! Лучшей шутки я не слышал много лет! — Тут он увидел, что у Мортон нет коробочки с пилюлями. — А вы что же? Или вам наплевать, если вы превратитесь в негра?

— Да, Вайс. Именно наплевать. Лишь бы стать человеком!

Он посмотрел в выпученные глаза Вайса, усмехнулся и медленно пошел к самолету, в который уже поднимались бывшие солдаты. Летчики были из повстанцев, и у дверей рубки стояли вооруженные часовые. Больше ничто не напоминало о войне.

Оглянувшись с трапа на аэродром, Мортон увидел, как к пункту Красного Креста подходила огромная очередь офицеров. Впереди шел генерал, а за ним конгрессмены и их дамы. Они торопились первыми избавиться от последствий психогенеза. За ними следовали начальник штаба и другие офицеры. А вдалеке строилась еще одна цепочка — из солдат и сержантов. Начальство даже и в рай попытается пройти раньше подчиненных...

Николай Александрович Асанов

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Редактор — П. А. КРАВЧЕНКО.

Технический редактор Я. М. Борисов

Сдано в набор 14/X 1971 г. А 00667. Подписано к печати 10/XII 1971 г.
Формат бум. 70×108¹/₃₂. Объем 2,80 условн. печ. л. 3,96 учетно-изд. л.
Тираж 100 000. Изд. № 2686. Заказ № 2010.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Цена 8 коп.

Индекс 70668

